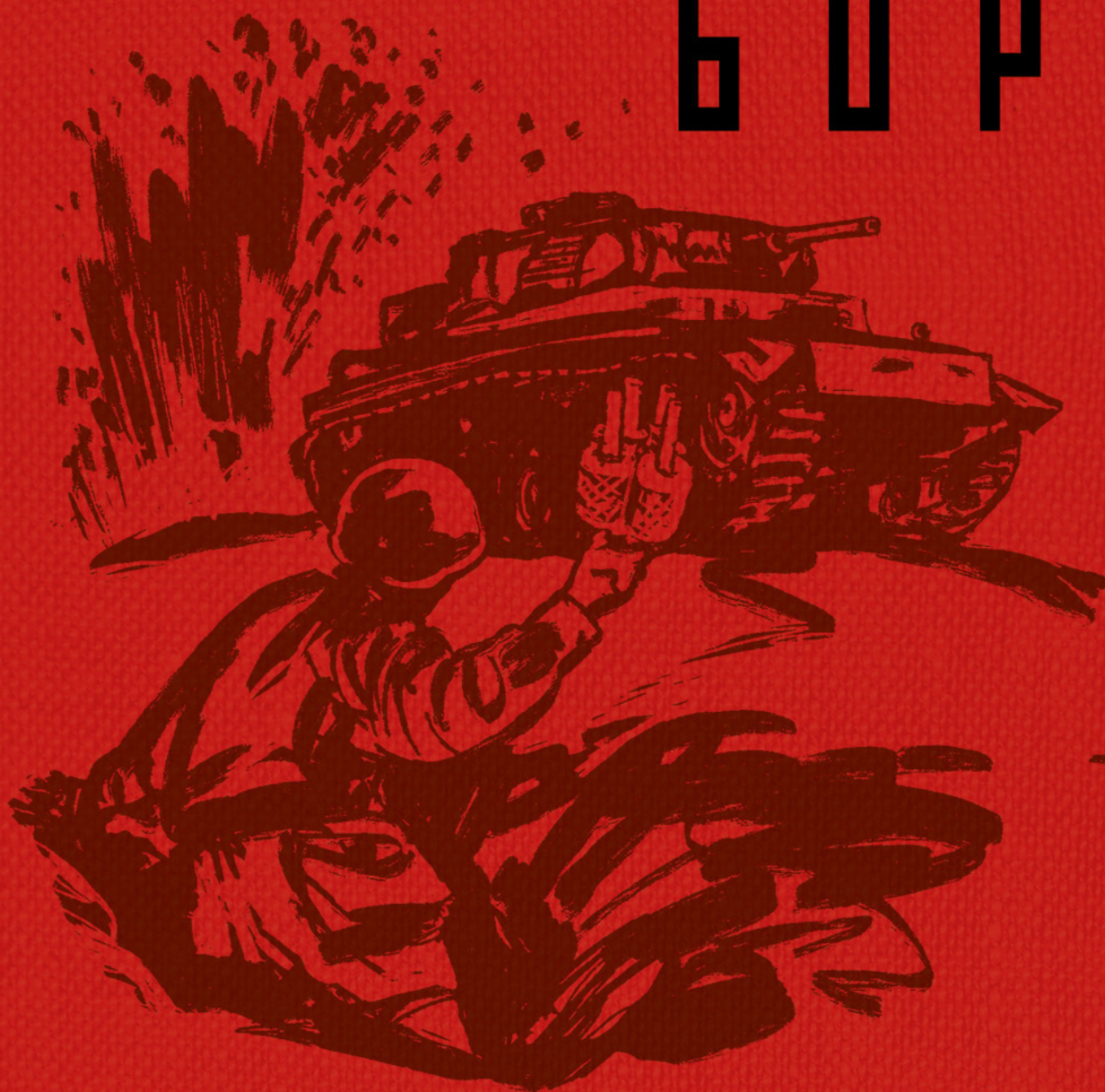


СТАНИСЛАВ
ГАГАРИН



МЯСНОЙ БОР



ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ РОМАНА О «ДОЛИНЕ СМЕРТИ»

Станислав Гагарин

Мясной Бор

«Яуза»

1988

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гагарин С. С.

Мясной Бор / С. С. Гагарин — «Яуза», 1988

ISBN 978-5-04-166022-2

Это роман о самом кровопролитном сражении времен блокады Ленинграда. Воюющие стороны понесли в районе Мясного Бора такие потери, что его называли «Долиной смерти». После боев в Мясном Бору численность некоторых батальонов сократилась до нескольких десятков человек. Известный российский писатель рассказывает о попытке прорвать блокаду Ленинграда в ходе Любанской наступательной операции в начале 1942 года. Впервые текст романа издается в полной авторской версии, без купюр и цензуры. В своем романе Станислав Гагарин первым рассказал трагическую историю 2-й ударной армии в этих боях. И спустя 30 лет после выхода роман остается лучшим художественным произведением о жесточайших боях в Мясном Бору. Автор скрупулезно подбирал информацию для книги, тщательно работал над каждым образом, и роман стал бестселлером. Среди действующих лиц книги – Иосиф Сталин и Клим Ворошилов, генералы Мерецков и Власов, бойцы и командиры РККА. В книге есть место не только героизму советских солдат, но и просчетам верховного командования. Были ли вина Сталина в больших потерях и гибели 2-й ударной армии? Можно ли было сократить потери и прорвать кольцо вокруг Ленинграда? Об этом рассказывает роман Станислава Гагарина.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-166022-2

© Гагарин С. С., 1988

© Яуза, 1988

Содержание

Книга первая	7
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Станислав Гагарин Мясной Бор

© Гагарин С.С., наследники, 2022

© ООО «Издательство «Яуза», 2022

© ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *



Книга первая

Наступление

1

– Я доложу о вашем прибытии, товарищ генерал, – проговорил темноволосый крепыш с капитанской шпалой в петлице. – Заседают порядком... Дело к концу, верно, идет.

Он направился было к двери, из-за нее слышался неясный шум. Сквозь него прорезался знакомый голос армейского комиссара Мехлиса. Представитель Ставки говорил громко, Лев Захарович не признавал полутонов, как не признавал и полумер.

– Не стоит, – сказал Воронов и остановил порученца Мерецкова за локоть. – Сам и доложусь...

Капитан Борода знал, что этот генерал прибыл из Москвы, а в документах его значилось: начальник артиллерии Красной Армии. Он помедлил, потом вспомнил, какая давеча шла ругань по поводу артиллерии 59-й армии, подумал об отчаянных запросах, ими командующий бомбил Москву, Мерецков и самому Сталину звонил... Вот Сталин, видать, и прислал главного артиллериста.

– Давайте без доклада, – улыбнулся порученец.

Дверь была обита черной клеенкой. В нескольких местах клеенку разодрали пули: еще недавно в Малой Вишере шли жестокие бои. «Вот и здесь дрались, в этой комнате», – подумал Воронов, передернул плечами и вошел.

Первым он увидел Мерецкова. Генерал армии сидел во главе стола, за которым разместились командиры частей, и держал в руке стакан чая в тяжелом подстаканнике. Он удивленно смотрел на появившегося в дверях начальника артиллерии Красной Армии, и Воронов понял, что Ставка не предупредила командующего фронтом о его приезде.

Кирилл Афанасьевич принялся вставать, чтобы приветствовать гостя, но тут из-за стола выскочил Мехлис и, не здороваясь, закричал:

– Ага, вот он, главный виновник, мать его так! Прислал, понимаете, артиллерию, которая ни к... не годится. Как прикажете стрелять без оптических прицелов, товарищ Воронов? Форменное вредительство! Ни одного телефонного аппарата в батареях... Это же настоящий бардак!

Командующий фронтом поднял руку, призывая Мехлиса успокоиться, а сам виновато взглянул на Воронова: сам понимаешь, хоть я и хозяин здесь, а Лев Захарович представитель самого. Николай Николаевич своеобразную, мягко говоря, натуру Мехлиса знал хорошо. Не обратив ни малейшего внимания на его выпад, он прошел к Мерецкову и пожал ему руку. Тут командующий счел возможным поддержать Мехлиса и сказал:

– Действительно, Николай Николаевич, нехорошо получается... Пятьдесят девятую бросаем в наступление, а в некоторых батареях передков нет. О приборах и телефонах ты уже слышал.

– Вот-вот! – опять закричал Мехлис. – Сам явился... Посмотрим, как он оправдываться будет!

Воронов перевел взгляд на него и молча в упор посмотрел Льву Захаровичу в глаза, зная, что это единственный способ заставить его успокоиться, прийти в себя. Когда Мехлис, не выдержав, отвел взгляд, Николай Николаевич в который раз подумал о том, как Лев Захарович внешне похож на Сталина. Только манеры обращения с людьми у них разные: Сталин очень редко повышал голос.

– Давайте не все сразу, – сказал Воронов. – Готов подвергнуться экзекуции, но дайте же мне последнее слово...

Люди, теперь стоявшие вокруг стола, заулыбались. Мехлис буркнул неразборчиво, демонстративно отставил стул, сел. Мерецков пригласил прибывшего гостя сесть рядом.

– Приехал к вам по приказу Ставки, – начал Воронов. – Очень там обеспокоены тревожными сигналами. Прислали меня разобраться. Для начала введите в курс событий. Что у вас тут делается и как... Вашей операции придают в Ставке большое значение. Так мне и поручено передать Военному совету фронта.

Никто этого Воронову не поручал. Его подняли с постели ночью. Звонил Василевский. Он сказал, что Мерецков с Мехлисом оборвали телефон Ставки, жалуясь товарищу Сталину о неладах с артиллерией. Пусть Воронов разберется... Это приказ Сталина. «Мехлису я верю, – передал Василевский слова Верховного. – Если он так беспокоит меня, значит, дело серьезное...»

Николай Николаевич сразу же, ночью, поднял необходимых людей и к утру выяснил, что Пятьдесят девятая армия прибыла на Волховский фронт из резерва Ставки. «Дела... – подумал Воронов. – Целую армию переводят из тыла на фронт, а начальник артиллерии узнает об этом последним». Ставка торопила со сроками наступления на Волхове, и армию генерал-лейтенанта Галанина спешно отправили на передовую, лишь частично укомплектовав ее вооружением. «Остальное получите на фронте», – сказали командарму. Вот и получилось так, что эшелоны с людьми двинулись на запад, а техника и оружие продолжали идти по старым адресам, на восток, откуда уже снялись полки и дивизии Пятьдесят девятой. Надо было срочно искать грузы на промежуточных станциях, изменять маршруты многочисленных составов, разворачивать их в обратную сторону. На все это требовалось время... А времени было в обрез. Армия прибыла на волховские позиции без артиллерийского обеспечения. И тут же была введена в бой.

– Со Второй Ударной, – рассказывал теперь Кирилл Афанасьевич, – такая же история... Артиллерия у нее укомплектована приборами, но с боеприпасами очень туго. Ведь к Новому году получили всего четверть боекомплекта. Мало продовольствия и фуража. Но эти грузы постепенно прибывают. А вот прицелы и телефоны...

– Уже доставлены, – перебил его Воронов. – К сведению присутствующих здесь командиров артчастей! Средства связи и артприборы можете получить на станции Будогощь. Они уже там.

Все недоверчиво зашумели.

– Липа, – сказал Мехлис. – Я вчера там был. Ничего нет...

Он повернулся к начальнику тыла. Тот закивал, потом посмотрел на Воронова и развел руками.

– А вы сами поезжайте, – сказал начальник артиллерии. – Как-никак я здесь у вас представитель Ставки. Мне слова на ветер бросать негоже.

Он знал, о чем говорит. Еще в Москве, выяснив обстановку и поняв, что ему надо взять на себя функции «Скорой помощи», ведь никто не знал, когда придут необходимые грузы для Пятьдесят девятой армии, Воронов приказал немедленно загрузить несколько вагонов телефонными аппаратами, полевым кабелем, другими средствами связи, не забыл и про артиллерийские приборы наблюдения и стрельбы. С этим и отправился на Волховский фронт.

– Отправляйтесь на станцию, – приказал Мерецков артиллеристам и снабженцам. – Совещание закрываю.

Командиры поднялись и стали выходить из комнаты. Первыми покинули ее артиллеристы. Остались члены Военного совета, среди них и начальник штаба фронта Стельмах. Мехлис держался поодаль. Воронова армейский комиссар не то чтобы не любил, по отношению к людям у Льва Захаровича не было этого чувства. Он считал любовь вообще вредным, рас-

слабляющим фактором. Но этого человека ценил товарищ Сталин и доверял ему. И для Мехлиса такое было высшим мерилом. Потому-то он как бы побаивался Воронова, а теперь даже несколько жалел, что набросился на него с руганью. Хотя они оба представители Ставки, но сейчас он постоянный представитель здесь, на Волховском фронте, а Воронов прибыл со специальным заданием и по особой иерархии, которую установил для себя Лев Захарович, хоть и на полранга, а вроде выше его.

– А у меня для товарища Мехлиса письмо, – сказал, доброжелательно улыбаясь, Николай Николаевич, будто и не было недавнего на него наскока. – От Верховного главнокомандующего. Лично.

Мехлис подбежал к Воронову, быстро взял пакет и стремительно исчез в боковой двери. Мерецков и Воронов переглянулись. Кирилл Афанасьевич смотрел встревоженно, но Воронов ничего не знал о содержании письма и пожал плечами.

– Перекусим с дороги? – радушно предложил комфронта.

– Это можно, – согласился гость.

Кирилл Афанасьевич повернулся к члену Военного совета Запорожцу, приглашая комиссара присоединиться к ним, Стельмах уже вышел прочь, чтобы распорядиться, а в комнате возник Лев Захарович. Вид у него был растерянный, недоумевающий: в конверте на его имя он обнаружил второе письмо, которое предназначалось Мерецкову.

– Главное письмо, оказывается, вам, товарищ командующий фронтом, – проговорил Мехлис, называя Мерецкова на «вы», хотя, бывало, он называл его и просто по имени-отчеству или генералом, да и тыкать людям Льву Захаровичу было в обыкновение.

– Мне? – удивился Мерецков. Он тоже не понял этого новшества Ставки – пересылать письмо одному для передачи другому. – Ну что ж, давайте.

Кирилл Афанасьевич, раскрошив сургуч печати прямо на пол, вскрыл пакет, не сумев скрыть предательской дрожи рук. Он и не пытался скрывать... Что они, стоящие вокруг, сами не понимают? В конверте мог содержаться любой неожиданный приказ. Отдать Мерецкова под трибунал – раз. Хотя вроде и не за что. Пока... Передать фронт другому. Тому же Воронову. Благо он уже здесь. Это два. Вызов в Ставку – три. Перемещение на другую должность – четыре... Да мало ли что мог вместишь пакет, где лежало письмо человека, одно имя которого заставляло трепетать миллионы людей?!

Мерецков вынул вчетверо сложенный листок и быстро пробежал глазами. Его доброе, совсем не генеральское лицо, осунувшееся в последние дни и затвердевшее, когда Мехлис передал ему пакет, несколько обмякло, его осветила грустная улыбка. Генерал прочитал письмо еще раз, уже медленнее, спокойнее, и вздохнул. Он поднял листок над головой, помахал им в воздухе и сказал:

– А письмо-то всех касается, друзья. Хоть адресовано оно мне лично, но прочту я его всем.

И командующий фронтом прочитал:

– «Уважаемый Кирилл Афанасьевич!

Дело, которое поручено Вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, – великое дело. Я бы хотел, чтоб предстоящее наступление Волховского фронта не разменялось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что Вы постараетесь превратить это наступление именно в единый общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков.

Жму руку и желаю Вам успехов. И. Сталин».

2

Степан Чекин часто вспоминал старика, который поднес ему тогда кружку браги. Зимой прошлого года, когда был еще учеником девятого класса, он прочитал «Поднятую целину» Шолохова. И вот этот дед, которого они встретили, когда, теснимые танками Гепнера, отходили от Пскова, был удивительно похож на забавного Щукаря, таким и представлял его себе Степан Чекин, недавний московский школьник.

– Братки... Уходите, братки? – печально спрашивал дед и дергал за козырек поношенную кепку, она все больше налезала на его голубые, теперь уже поблекшие глаза. – Уходите?..

– Не дашь ли напиться, дедушка? – попросил его Степан.

Он остановился у калитки, а бойцы, к ним Степан примкнул, когда после перевязки ушел из медсанбата, стали двигаться дальше.

– Догоняй! – крикнули ему.

Степан улыбнулся и махнул им вслед.

– Чем же напоить тебя, касатик? – ласково спросил дед. – Молочка али испьешь?

– Мне б воды холодной...

– Ладно. – Дед смешно подмигнул Степану: – Холодной – это можно. Только у меня кое-что повкуснее будет... Да ты зайди во двор, малец! А я сей минут в погреб нырну.

Степан посмотрел на дорогу. По ней удалялись его попутчики.

– Побыстрее, дедушка, – сказал он и вошел во двор. – Боюсь, своих не догоню...

Они, эти красноармейцы, были из другой части, но теперь каждый русский человек в военной форме был для Степана своим. «Ничего, – подумал он, – не отстану...»

Дед исчез в избе. Степан снял с плеча винтовку с примкнутым штыком, прислонил к приворотному столбу. Глухо ныла раненая рука. «Дед Щукарь» появился с большой кружкой.

– Пей, сынок, сразу полегчает, – сказал он, покосившись на перевязанную руку юноши.

Жидкость была холодной, желто-белесого цвета. Степан принял кружку и с удовольствием ощутил в ладони ее прохладную округлость.

– Что это, дедушка? – спросил он.

– А бражка это, малец. На меду варена.

Никогда Степан не пил хмельного, даже пива не пробовал. А про брагу-медовуху только в сказках читал. Дескать, по усам текло, а в рот не попало... Но жажда была нестерпимой, и Степан стал пить холодную терпкую жидкость. Она была приятна на вкус, отдавала мятой и еще какими-то травами, в них Степан не разбирался, кисло-сладкая, немного шибала в нос, будто газировка, и холодила так, что поламывало зубы.

Браги Степан выпил с пол-литра. «Еще, сынок?» – спросил дед, но парень, поблагодарив, схватил винтовку и выбежал за ворота. Солдат, к которому он прибил, на дороге не было видно. «Ничего, – подумал Чекин, – догоню... Недолго ведь я прохлаждался». Он подпернул винтовку плечом и двинулся пыльной дорогой. Еще несколько минут назад по ней двигались разрозненные группы красноармейцев, тащили пожитки на спинах и везли их на ручных тележках беженцы. Теперь здесь никого не было, и неуютное чувство одиночества охватило Степана.

Через сотню-другую шагов он почувствовал вдруг, как кружится голова. Идти становилось тяжелее, и винтовка с плеча стала сползать чаще. «Присяду минуток на пять, – решил Степан, дивясь в душе необычному состоянию, которое его охватило. – Немножко отдохну...» Степан сошел на обочину и хотел тут же и сесть. Но сразу сообразил, что на открытом месте рассиживаться неудобно, потому и взял шагов на тридцать в сторону от дороги, где рос густой кустарник. Забрался в кусты, оберегая раненую руку и цепляясь винтовкой за ветки, сел на траву. Голову неудержимо клонило вниз, он успел расслабленно удивиться тому, что с ним происходит, и провалился в небытие.

...Разбудило его тарахтенье. Так и не понял, мотоцикл ли проехал, а может быть, из пулемета бьют. Открыл Степан глаза и не мог поначалу сообразить, куда он попал.

Тихо было кругом. Степан приподнялся, раздвинул ветки, глянул на дорогу. Никого на дороге. Послышалось некое жужжание, и Степан задрал голову. Нет, и наверху никого...

«Ага! Это вон та букашка меня напугала...» Смешно стало Степану. Голова не кружилась, но легкий звон ощущался. «Пора идти, – подумал красноармеец, – догонять своих надо...»

С винтовкой на плече он вышел на дорогу. Солнце склонилось к западу и светило ему в спину. Долго ли дремал он в кустах, Степан сообразить не мог. На душе у него было покойно, он решил, что недавние попутчики его стали на привал, поди, и поесть уже приготовили. Вдруг Степан ощутил зверский голод, и чувство это заставило его заторопиться.

Вдали показалась березовая роща. Она стояла справа от дороги. «Там меня и ждут», – решил Степан. Ему стало весело, и парень едва сдержался, чтобы не засвистать. Вспомнил, как наказал его за это недавно командир отделения младший сержант Зима. «Где он сейчас, товарищ Зима?» – легко подумал Чекин. Ему стало грустно: отбился от родного взвода, когда теперь разыщет его?.. Степан вздохнул, прошагал еще немного и вдруг резко остановился. На дороге лежали трупы красноармейцев.

...В девятом классе их было четырнадцать мальчишек. Все родились в двадцать третьем году. Кому-то исполнилось к началу войны восемнадцать, а кому-то и нет. Впрочем, всех их выгнали из военкомата, куда они, не сговариваясь, явились. «Придет и ваш черед, – сказали им. – Ждите...» Отправились в райком комсомола. «Будем вас иметь в виду...»

Чекину восемнадцати еще не исполнилось, он боялся, что из-за этого в армию его не возьмут. Но откуда только взялась напористость, ею раньше не отличался, добился своего. Второго июля он был уже зачислен в 39-й запасной полк. Едва успели их обмундировать, выдали винтовки, патроны в подсумках, сухой паек каждому в «сидор», посадили в теплушки и повезли неизвестно куда. Выгрузились ночью. Пока сустились у вагонов, стало светать. Двумя колоннами двинулись в начинавшийся день четырнадцатого июля. Степан от любопытства по сторонам глядел, потому и споткнулся. Глянул под ноги – труп! Человек лежал лицом вниз. Ноги широко раскинуты, одна рука протянута вперед, будто достать кого хотел...

Ошеломленный, Степан съезжился, шагал торопливо, часто перебирая ногами, боясь снова наткнуться на страшное препятствие. Когда заняли траншеи, младший сержант Зима объявил: часть их прибыла на фронт в качестве пополнения, теперь находятся они под Псковом. Утром ожидается атака немцев, всем быть наготове. По его команде выбираться разом на бруствер, брать противника врукопашную. А пока примкнуть штыки. Степан примкнул штык к винтовке, получилось у него ловко, и парень немного повеселел.

Рассветало... Вдруг над головой что-то пролетело со свистом и неподалеку раздался взрыв. «Всем укрыться! – распорядился Зима. – Минометный обстрел!»

Скорчившись, сидел Степан на дне окопа. Пахло непривычно кислым порохом и толком. И страшновато было, и весело. Наконец-то он попал на войну... Не понарошку, а на самом деле. Может быть, и стрелять сегодня придется.

Окопы были вырыты в полный профиль, при небольшом росте голова Степана приходилась под бруствер. Он подставил под ноги патронный ящик, хотел встать на него и взглянуть, но вспомнил о каске, стал ее примерять. Каска была большая, налезала на глаза. Чекин снял ее и положил на бруствер. Вдруг звякнуло, и каска покачнулась. Степан взял ее и увидел дырку. Тут младший сержант Зима закричал: «Немцы пошли в атаку!» Степану стало не по себе, но любопытство разбирало, страшно хотелось посмотреть на идущих в атаку немцев. Он и выглянул.

Немцы шли во весь рост, в несколько цепей. С непокрытыми головами, волосы зачесаны назад, солдат у них не стригли наголо, раскрытые рты, пилюшки под погоном, рукава засучены, автоматы постреливают... «Как в кино», – подумал Чекин, не испытывая ни страха, ни желания спрятаться куда-нибудь и даже не вспомнив, что ему надо стрелять в этих людей, уже сейчас надо стрелять... Он сообразил это, когда с флангов роты ударили «дегтяри». Пулеметы уверенно и твердо дудукали, немцы продвинулись еще немного и залегли.

– В атаку! Вперед! – закричал командир взвода.

Бойцы стали выбираться из траншеи, а Степан легко выпрыгнул на бруствер, он со школы с гимнастикой в ладах, побежал с винтовкою наперевес. Все кричали, и Степан кричал. Мощное и безудержное «А-а-а!» неслось над полем боя. Только это и различал Степан: «А-а-а!...»

Бежал он недолго. Вдруг левую руку обожгло, он выпустил винтовку, и она ткнулась штыком в землю. Чекин сел на землю и только тогда ощутил боль в руке, почувствовал, как сыро стало в рукаве гимнастерки. Оглянулся кругом. Все лежали, а Степан сидел среди поля, готовый заплакать от страха и боли.

– Ложись, твою мать! – различил Степан голос младшего сержанта Зимы. – Убьют, так и эдак! Ложись!

Степан улыбнулся сквозь слезы, от голоса Зимы стало ему спокойнее, страх исчез. Солнце уже поднялось довольно высоко и ласково пригревало левую щеку. Справа короткими, но частыми очередями бил пулемет. Наверно, стреляли и немцы. «Меня уже ранили сегодня, – думал Степан, – значит, не убьют... Ничего со мной больше не случится».

В этот момент чья-то сильная рука ухватила его за расстегнутый ворот гимнастерки и повалила на спину. Опрокидываясь навзничь, Степан услышал свист пуль – по ним стреляли. Командир отделения Зима стащил Степана на дно окопа. Он виновато улыбался, когда младший сержант перевязывал ему руку, заартачился было, получив приказ идти в медсанбат. Но Зима, сдвинув брови, грозно крикнул: «Марш!», и Чекин побрел по траншее, так и не отомкнув штык винтовки.

В медсанбате Чекину стало жутко, страшней, нежели в бою. Серые, землистые лица измотанных медиков напомнили мертвецов из гоголевского «Вия». Эти живые покойники были забрызганы чужой кровью. Они резали раненых и сшивали, пилили им кости, закрывая обрубки лохмотьями истерзанной плоти. И здесь пахло порохом, но и кровью тоже.

Пока Степан ждал очереди, он совсем обалдел от увиденного. Едва не стошнило, когда санитар пронес мимо него солдатскую ногу в ботинке. Верхняя часть обмотки, пропитанная кровью, размоталась и волочилась по земле, пачкая траву красным.

Чекин едва дождался перевязки. Получив справку о ранении, он ушел из медсанбата и стал разыскивать однополчан. Ему сказали, что подразделения отошли из тех траншей, где были утром. Не выдержали соседи на левом фланге, и линию обороны пришлось выровнять. Теперь, яростно сопротивляясь, полки отходят на Лугу. Потом он встретил этих бойцов. «Пойдем с нами, парень», – сказал ему черноусый красноармеец, улыбчивый и добрый. Он заново перевязал Степану руку и взял опеку над ним. Он и сейчас улыбался, лежа полусогнувшись у дороги. Голова его, повернутая влево, покоилась на тощем вещмешке. На груди Степан рассмотрел два небольших темных пятна. Сюда угодили пули.

Они все были здесь, на дороге. Те красноармейцы, с которыми шел Степан. Уже потом, став бывалым фронтовиком, Чекин сообразил, что встретила их засада. Стреляли из рощи... Никто не ушел. А сейчас он очумело вглядывался в лица убитых, узнавал и не узнавал этих людей, так они отличались, мертвые, от тех, кого знал еще сегодня. Страх не было. Степан был изумлен. Его сознание не могло вместить неожиданной и такой бессмысленной смерти. Он принялся за чем-то считать трупы. Их оказалось девять. «Девять», – повторил Чекин. И вдруг подумал: «А ведь я был бы десятым...»

И вслед за этой простой мыслью пришел дикий и яростный страх. Степан тоненько взвизгнул и бросился бежать. Он мчался в ту самую рощу, откуда пришла смерть для его товарищей. Ему казалось, что роща укроет его, спасет. Хотелось забиться в чащу, в кусты, под землю, превратиться в маленькую козявку, чтоб заползти в еле видную щель и спрятаться там от окружавшего мира, такого враждебного всему живому... Степан продолжал бежать и среди деревьев, забыв про боль в руке. Вот и рощица кончилась, впереди поляна, за нею синее еловый лес. Тут он и услышал окрик: «Стой!», но по инерции продолжал бежать. Остановил его второй окрик и выстрел.

Чекин облапил старую березу и сполз на колени. Он и лег бы на землю, сил не было вовсе, да помешала винтовка. Она-то потом и выручила Степана.

Остановил его заградотряд. Документы у Чекина были в порядке, имелась и справка, что ранен в бою, а главное – винтовка на плече. Оружие не бросил – не дезертир. А что от полка отстал – таких, как он, тысячи...

Подержали Чекина немного в лесу, пока не сколотили из таких же одиночек и групп команду. Потом придали их новой части, с ней и отходил Степан до самого Ленинграда.

3

– Не думайте, что у вас тяжелее, чем у других! – почти выкрикнул Гитлер. – Я всегда стоял за жесткую оборону, если временные обстоятельства не позволяют наступать... Любой ценой сковать и обескровить противника! Если отступаешь, то тем самым даешь противнику возможность действовать, тогда он привлекает освобождающиеся силы. А при этом собственный маневр в угрожаемом направлении запаздывает. Это ведь так понятно!

Гитлер с искренним удивлением посмотрел на собравшихся в его кабинете генералов. «Странные люди, – с горечью подумал он. – Посвятить жизнь науке воевать, сделать войну профессией и быть не в состоянии постичь простые истины. Впрочем, ничего нет в этом удивительного. Обычная косность профессионалов, не умеющих разом отбросить устоявшиеся каноны...»

– Обстановка сложная, – продолжал он. – Конечно же, русские агонизируют. Но вам известно, что даже заяц неистово защищается в минуту смертельной опасности. Сегодня мне трижды звонил фон Клюге. Генерал-фельдмаршал в отчаянье. Четвертая армия не в состоянии сдержать натиск русских. Они наносят удар с юга сразу на двух участках в направлении автостреды. Дорога перерезана! Прорыв у Сухиничей расширяется. Фон Клюге просит разрешения сдать Медынь.

Гитлер замолчал. С минуту он сидел, уставясь ничего не выражающим взглядом в пространство. Гитлер мысленно перенесся туда, где противник ожесточенно рвался к автомобильной дороге Рославль – Юхнов – Москва, тесня Четвертую армию. Он будто увидел сейчас с высоты птичьего полета бескрайнюю белую равнину, ее разрезала надвое узкая полоса автостреды. По снежному полю, испещренному воронками, ползли танки. Они казались темными букашками, а пехоту, которая жалась к ним под защиту брони и пулеметов, и вовсе не могли различить близорукие глаза Гитлера. Потом он увидел брешь, пробитую русскими к северу от Медыни. Она доставила ему столько беспокойства. А бравый вояка фон Клюге даже стал заикаться после прорыва русских.

Шел двести шестой день войны. Начальник Генерального штаба Сухопутных войск вермахта Франц Гальдер в этот день, 13 января 1942 года, записал в военном дневнике: «Наиболее тяжелый день!» Но сам Гитлер не верил в возможности русских. Он искренне считал декабрьский переход в наступление под Москвой последней их вспышкой перед закатом. И все-таки фюрер едва ли не физически ощутил, как болезненны атаки противника на позиции 5-го армейского корпуса, где русские в нескольких местах вклинились в его оборону. Он нахо-

дил весьма неприятным и тот факт, что их крупные соединения прорывались на стыке между 6-м и 23-м армейскими корпусами и наступают на железную дорогу Ржев – Сычевка. А в самой Сычевке развернулись бои в районе станции. Если станция отойдет к русским, будет потеряна единственная магистраль для снабжения Девятой армии и 3-й танковой группы.

Нет, только не это! Последствия могут быть самыми непредвиденными. А ведь ему должно предвидеть все... Не думалось, что Сталин способен еще сопротивляться. Да, затянута кампания на Востоке...

Гитлер почувствовал вдруг прилив бешеной ярости. Ему хотелось ударить кулаком по столу и что есть силы заорать, выставить вон этих напыщенных снобов. Он едва сдержался и тяжело задышал. Это все они... Подвели его рассуждениями о колоссе на глиняных ногах. А теперь плачутся, сетуют на морозы, бездорожье, фанатизм русских солдат. И просят разрешения на отход. А тут еще этот фон Лееб, старая кляча. Видите ли, ему тяжелее, чем другим... «Это мне, мне тяжелее, чем всем вам, вместе взятым!» – Гитлер дернул плечом, глянул исподлобья на командующего группой армий «Север» фон Лееба, прибывшего утром в Ставку для доклада, склонил голову к левому плечу и вопросительно уставился на генерала Гальдера:

– Что там у них?

Начальник Генерального штаба понял, что речь идет о положении в группе армий «Север», ответил:

– Боевые действия временно прекращены. Температура воздуха – минус 42 градуса по Цельсию.

– Славные дивизии вермахта капитулируют перед генералом Морозом, – усмехнулся Гитлер. – А русские что, разве они не мерзнут?

– И русские мерзнут, мой фюрер, – сказал Гальдер. – Правда, пассивность с их стороны мы объясняем и подготовкой к наступлению на волховском участке. Еще в декабре служба радиоперехвата установила существование нового крупного штаба, который активно вышел в эфир. Теперь мы знаем точно, что русскими создан новый, Волховский фронт. Видимо, он возьмет на себя руководство общим наступлением противника. Сейчас в составе этого фронта четыре армии. Командует ими Мерецков.

– Тот самый? – быстро спросил Гитлер.

И он вспомнил, как трудно было ему расстаться с мыслью, что теперь, когда Тихвин у него в руках, перерезан последний рельсовый путь к Ладогe. Еще немного – и вермахт соединится с Маннергеймом. Тогда – смерть и забвение ненавистному Петербургу, источнику большевистской заразы. Тихвин у него отобрал Мерецков.

Генерал Гальдер сделал неопределенный жест рукой, потом кивнул. Гитлер невразумительно буркнул. Наступило тягостное молчание. Никто не решался нарушить его.

Фон Лееб сидел, неестественно выпрямив спину, и делал вид, что происходящее здесь, в малом кабинете фюрера, предназначенном для разговоров в узком кругу, его не касается. Он твердо решил уйти в отставку и сейчас держался из последних сил, накапливая энергию, которая могла бы противостоять магнетизму Гитлера. Фон Лееб знал о существовании особого дара фюрера убеждать, подавлять волю других и готовился к поединку.

Генерал Гальдер бесстрастно перекладывал лежащие перед ним бумаги. Он замкнулся, ушел в себя с девятнадцатого декабря прошлого года, когда фельдмаршал фон Браухич сложил полномочия главнокомандующего сухопутными войсками. Теперь его пост занимал Гитлер.

«Что ж, так угодно Богу и фюреру, – написано было на лице Гальдера. – Я – солдат. Мой долг – повиноваться тому, кто имеет право отдавать приказы. А то, что я думаю при этом, знать никому не следует. Германии нужны мои специальные знания. И я отдаю их общему делу без остатка. Вот и все...»

Остальные тоже молчали. И генерал-квартирмейстер Вагнер, которого Гитлер вызвал, чтобы выяснить, как тот будет снабжать 4-ю армию в условиях сильного натиска противника,

и подполковник граф Эйленбург, только что вернувшийся из этой армии, куда его посылали поднять в войсках чувство доверия к высшему командованию и веру солдат в собственные силы, и генерал Бранд, ему поручили недавно составить расчет на использование химических средств против Ленинграда. Не смели проронить ни слова и те офицеры Генерального штаба, которые присутствовали как технические специалисты.

Когда наступившая тишина сделалась невыносимой и стала звенеть в ушах собравшихся у фюрера людей, Гитлер вдруг резко встал. Выпрямляясь, он сильно толкнул свой стул, и тот упал. Толстый ковер заглушил шум от падения стула. Фюрер повернулся и с недоумением посмотрел назад, за спину. Потом он осторожно обошел упавший стул, опасливо косясь на него, будто на хищное животное, и направился к карте. Теперь Гитлер знал, что лица его никто не видит, и позволил себе сощуриться, чтоб, не прибегая к лупе, рассмотреть топографические знаки. Не поворачиваясь, фюрер спросил:

– Фон Лееб! Вы готовы говорить со мной? Узнав о вашем желании встретиться, я немедленно распорядился вызвать вас сюда.

– Мой фюрер, – сказал фельдмаршал тихим, но твердым голосом. – Солдаты группы армий «Север» готовы выполнить долг. Летом и осенью они наступали как одержимые. Сейчас обстановка коренным образом изменилась. Не отказываясь от главной цели – Петербурга, мы вынуждены были из оперативных соображений перейти к обороне. Расчет был на изоляцию города, в котором осталось большое количество гражданского населения. Немедленный штурм Петербурга унес бы тысячи лучших солдат рейха, которые так нужны вам, мой фюрер, и великой Германии. Мы надеялись, что методический обстрел, нарушение коммуникаций, голод, наконец, заставят фанатиков выбросить белый флаг или, по крайней мере, позволят нам овладеть городом малой кровью. Но... русские не сдаются, мой фюрер! Более того, положение наших войск, которым противостоят три русских фронта, довольно сложное. Противник постоянно беспокоит передовые линии германских частей. Остановились танки. Нет зимнего обмундирования. Участились случаи срыва графика подвоза боеприпасов. Много хлопот доставляет нам и четвертый фронт, мой фюрер, – русская зима.

– Что?! – закричал вдруг Гитлер.

Теперь у него был повод сорваться и выплеснуть на беднягу фон Лееба все, что так долго копил он в себе, сдерживая порыв бешеного раздражения.

Генерал Гальдер тоскливо подумал о том, что ему следовало предупредить фельдмаршала. Хотя кто бы мог предвидеть, что фон Лееб сошлется на проклятую русскую зиму, да еще прямо так и произнесет, не маскируясь обтекаемыми формулировками, ненавистные фюреру слова?

«Да, – подумал Гальдер, – это, пожалуй, последний визит фельдмаршала в Ставку...»

– Что? – закричал Гитлер. – Что вы сказали, фон Лееб? От вас, именно от вас, офицера старой германской школы, я слышу эти слова... Мне больно и горько! Вы...

Голос у Гитлера сорвался, он заложил руки за спину и, наклонив голову вперед, стал расхаживать по кабинету. Поворачиваясь к фон Леебу, он поднимал голову и исподлобья глядел на фельдмаршала. Прядь волос падала на глаза, и фюрер резко откидывал голову, отворачиваясь от неестественно прямо застывшего командующего группой армий «Север».

Когда 19 декабря фюрер объявил, что берет на себя командование сухопутными войсками вместо фон Браухича, который официально уходил в отставку по болезни, первым его действием было категорическое требование изъять выражение «русская зима» из лексикона военных, поскольку фюрер считал его психологически опасным. И Гальдеру пришлось заняться несвойственной начальнику Генштаба функцией – вылавливать из донесений с Восточного фронта сакраментальное выражение, попавшее в опалу. А теперь о приказе фюрера знали, пожалуй, все, вплоть до последнего солдата. И потянуло же за язык этого фон Лееба...

Нашел на что сослаться. Гальдер попытался встретиться взглядом с фельдмаршалом, но тот напряженно следил за разъяренно шагавшим в молчании Гитлером.

– Не думайте, фельдмаршал, что вам тяжелее, чем другим, – проговорил вдруг фюрер. – Трудно всем... Не мне объяснять вам, старому солдату, что такое война. Да, нашим доблестным армиям приходится нелегко! Но кто ждал там, в бескрайней России, легкой победы? Теперь осталось недолго... Последнее усилие – и враг будет повержен! Вы уже настаивали на немедленном отходе. Я ответил вам, что не могу с этим согласиться. Необходимо удерживать фронт на Валдайской возвышенности и на Волховском рубеже, необходимо!

– Но, мой фюрер, русские готовятся перейти в наступление от Ладоги до нашего стыка с группой армий «Центр», – сказал фон Лееб. – Я приложу все усилия, но боюсь, что успеха не будет. Части группы армий измотаны в предшествующих боях, перебросить в срочном порядке подкрепления невозможно.

– Почему? – быстро спросил Гитлер и вопросительно глянул на принявшего невозмутимый и вместе с тем снисходительно-заинтересованный вид Гальдера.

– Слишком медленный темп движения, – ответил Гальдер. – Мы перебрасываем туда Двести восемнадцатую пехотную дивизию. Но прибудет на Волховский фронт она к концу января.

– Наведите порядок на железных дорогах! Вагнера и Бенца наделить диктаторскими полномочиями! – приказал Гитлер. – В нашем положении дороги – это все. Это залог успеха! А вы...

«Бог мой! – мысленно воскликнул Гитлер. – Как я одинок! Нет около меня человека, на которого мог бы положиться. Напыщенные снобы! Лучшие военные умы нации. В них нет ничего, кроме комплекса условностей и обветшалых традиций. И этот Гальдер... Пыжится, будто павлин на птичьем дворе. Эдакий рыцарь без страха и упрека... Будто я не знаю, господин генерал-полковник, как вы еще в тридцать девятом году договорились уйти с Браухичем вместе, если я вышвырну одного из вас вон. И мне известно, что вас упротил остаться бывший Главком. Он надеется, будто сумеете влиять на меня. Попробуйте, Гальдер. Влияйте...»

Мысль о том, что кто-нибудь попытается влиять на него, хотя фюреру уже представили запись доверительного разговора между генерал-фельдмаршалом фон Браухичем и Францем Гальдером, эта мысль привела Гитлера в хорошее расположение духа.

– Вы, фельдмаршал, устали больше других, – сказал фюрер с улыбкой, обращаясь к фон Леебу, – теперь и я вижу это. И просите освободить вас от должности, не так ли?

Фон Лееб вздрогнул. Фюрер смотрел ему прямо в глаза.

– Ах да, вы еще не успели мне сообщить об этом... Только я уже догадался о вашем желании. Странно... Всю зиму я сам снимал генералов с их постов. За трусость и безволие! Я снял с должностей около двухсот генералов, а командира Сорок второго корпуса Шпонека приговорил к смерти и только потом заменил ее заключением в крепость. Теперь мои полководцы дружно принялись болеть. Их разбивает паралич, как Рейхенау. А иные попросту подают в отставку. Какая у вас болезнь, фельдмаршал?

Фон Лееб открыл было рот, но Гитлер махнул рукой:

– Можете не отвечать. Я приму вашу отставку.

Он подошел к столу, устало опустился на стул, положил локти и подпер руками голову. В кабинет неслышно проскользнул штабной офицер. Он приблизился к генералу Гальдеру и зашептал на ухо. Гальдер выслушал и кивнул. Офицер вышел. Начальник Генштаба негромко кашлянул. Гитлер продолжал сжимать голову руками. Он смотрел на большую карту Восточного фронта остекленевшими глазами.

– Мой фюрер, – решился наконец генерал-полковник, – сейчас звонил командующий группой армий «Центр». Противник подтянул в район Медыни свежие силы. Бои исключительно обострились...

Гитлер молчал. Он продолжал пристально смотреть на карту. Потом, не поворачиваясь, устало произнес:

– Передайте фон Клюге: я разрешаю сдать Медынь.

4

Во сне ей было стыдно.

За месяцы, проведенные на фронте, старшина медицинской службы Марьяна Караваева даже на мгновение не допускала мысли о близости с мужчинами. Хотя мужиков было хоть пруд пруди и на нее, красивую молодую женщину, заглядывались многие. Ее чрезмерная, даже в мыслях, сдержанность не была связана с необходимостью хранить верность мужу. Он погиб еще 22 июня, защищая пограничную заставу на Буге. Да и ей, Марьяне, не жить бы, не увези она на лето к матери двух маленьких сыновей.

Скорее тут было другое: Марьяна всерьез относилась к войне, к поведению людей на фронте. Считала: раз войну называют «священной», значит, и люди на ней должны быть святыми. Вот взять хотя бы ее. Мать двоих детей, а пошла воевать, оставила несмышленьшей в Малой Вишере – и ушла. Не брали – добилась через райком ВКП(б). И после такой жертвы она будет этим на фронте заниматься... Нет, даже думать о таком кощунственно!

Подобная позиция женщины чутко ощущается мужчинами, и в основном Марьяну оставляли в покое. Бывало, кто из раненых по неосведомленности и пытался ухаживать за красивой сестричкой, но, получив отпор, тут же отставал.

Блюла себя Марьяна с достоинством, и тут на тебе... В холодную январскую ночь, незадолго до наступления, которое готовился начать Волховский фронт, приснилось ей такое, что у нее во сне уши пылали от стыда. Пылать-то пылали, а самой нравилось привидевшееся. И любила она пылко и беззаветно, и будто до конца растворялась в совершенно незнакомом ей мужчине. Добро бы с мужем... Нет, с тем у нее так не бывало...

В последние дни суматохи было вдоволь – медсанбат тоже готовился к наступлению. Они выдвинулись со станции Парохино вместе с дивизией, которая еще в декабре вошла в состав Второй Ударной армии, переименованной так из Двадцать шестой армии, находившейся до того в резерве Ставки Верховного главнокомандования. Медсанбат развернулся поближе к переднему краю, чтобы вслед за атакующими цепями двинуться вперед и начать принимать раненых. А в том, что их будет много, никто не сомневался.

...Марьяна проснулась с чувством особой бодрости, которое приносит глубокий сон, если им заканчивают длительную и хлопотливую, требующую сильного напряжения духовных и физических сил работу.

«Выспалась на славу», – подумала молодая женщина. Вспомнив подробности сна, Марьяна густо покраснела и поспешно отвернулась, чтоб не выдать смутения разбитной подруге, хирургической сестре Тамаре, которая испытующе посмотрела на нее.

– Что снилось, Марьяночка? – нараспев проговорила Тамара, и Марьяна с трудом отогнала мысль, будто та все знает. Слава богу, в чужие сны никто еще проникать не умеет.

– Так, – стараясь говорить равнодушным тоном, ответила Марьяна, – ерунда всякая. Давно не спишь?

– В одно время с тобой проснулась, подружка. А мне вареники привиделись. С вишнями и сметаной. Мама мне их все сыплет да сыплет в миску, а я наворачиваю. Прелесть! Вот бы сейчас их соорудить... А, Марьяна?

– Глупая, – снисходительно проговорила Марьяна. – Ведь на дворе январь!

– И то, – согласилась девушка, – зима стоит. А на танцы сегодня пойдем?

– Какие еще танцы?

– А у артиллеристов. Ребята приглашали.

– Нашли время. Завтра люди в наступление пойдут, тысячи полягут, а вы... танцы. Прямо святотатство какое-то!

– Одно другому не мешает, – не согласилась Тамара, но, увидев, что подруга сердится, быстро проговорила: – Ну хорошо, ну ладно. Никуда не пойдем. Только ты мне тогда про первого маршала расскажи, как ты его видела. Расскажешь?

– Так я тебе уже дважды про то говорила!

– Марьяна, и в третий раз послушать такое приятно. Это ж надо, какая ты счастливая! Самого Ворошилова видела. Мне б такое – умерла б от счастья!

...В Чудове это случилось осенью прошлого года. А до того была Малая Вишера, где оставила она, Марьяна Караваева, сыновей-мальчишек: Филиппа, которому не исполнилось еще и трех лет, и полуторагодовалого Сашку. Оставила на попечение своей приемной матери, Станиславы Адамовны, старой большевички. Уже в четыре часа дня 22 июня эта необычная женщина, испытывавшая подполье и каторгу, написала военному Малой Вишеры: «Родина в опасности! И потому благословляю дочь на ее защиту. А на двоих внуков сил у меня еще хватит. Верю – Родина нас не оставит без помощи...»

Военный комиссар наотрез отказался призвать в армию военнообязанную, обремененную двумя малыми детьми. Неделью обивала Марьяна пороги райкома, где принимали ее в партию нынешней весной. Наконец, партийная тройка приняла решение направить ее с отрядом рабочей гвардии в штаб партизанского движения Ленинграда. Их было двести человек, в отряде имени Коминтерна. Маловишерские рабочие всех возрастов, освобожденные от призыва в Красную Армию по разным недугам. Сегодня о недугах забыли... Пусть им нельзя служить в регулярных частях! Они станут драться с партизанами вместе. Двести рабочих. И среди них одна женщина – медсестра Караваева.

Вскоре их отряд прибыл на станцию Чудово. Здесь скопились эшелоны с горючим, снарядами, бомбами. Германские самолеты с крестами на крыльях уже зажгли станционный поселок. Стоял нескончаемый грохот. Люди, признаться, растерялись, но все держались вместе.

– Вспоминать страшно, – сказала Марьяна, – а тогда... Впереди уже гремели сильные взрывы, полыхал огонь. Видно, начали рваться цистерны. Вдруг откуда ни возьмись выскочил военный и нашему командиру пистолет под нос. «Расстреляю, – кричит, – сукина сына! Бери свою команду, расцепляй вагоны и откатывай. А то сейчас все взлетит к чертовой матери!»

– Ух ты! – восхищенно проговорила Тамара.

– Подожди, – отмахнулась та и продолжала рассказывать, уже сама увлекаясь, заново переживая прошлое: – Приказ ясен. Бросились к вагонам, по два-три человека на каждый. Одни расцепляют, другие откатывают подальше от взрывов. Смотрим: на дрезине кто-то подъехал, начальник какой-то, и к нам идет не спеша с адъютантом. Наш временный командир стоит к нему спиной, не видит его, значит, а нас всех для бодрости духа поливает по матушке, чтоб побыстрее шевелились. Климент Ефремович, а это был он, Ворошилов, подошел, послушал, головой качнул и говорит: «Как нехорошо!» Тот повернулся и хотел соответственно послать, да тут и застыл, рот разинув, узнал... В это время и ахнула рядом бомба. Нас и сыпануло, как горох, в канаву.

– И маршала? – недоверчиво спросила Тамара, хотя слушала эту историю в третий раз.

– И его, – ответила Марьяна. – А против взрывной волны что сделаешь? Лучше уж катиться, да подальше...

– А потом что было?

– Поднялись мы, отряхнулись. Климент Ефремович на паровозе уехал. А тут вскоре и налет прекратился. Вагоны мы раскатали, спасли многое. Пошли дальше к Ленинграду. «Все, голубчики, – сказали нам вскоре, – дальше дороги нету...» Вернулись те, кто живой остался,

в Малую Вишеру. Снова я в военкомат. Там, видно, решили: ведь все равно уже баба воюет. И направили меня в инженерный батальон. С ним я и уходила с боями. А в декабре в батальоне появился представитель, отбиравший добровольцев в новую дивизию. Я изъявила желание сразу же. Отобрали несколько человек, и меня тоже. Отправили нас на станцию Парак-нино, к месту формирования 46-й стрелковой дивизии. Там мы с тобой и встретились.

Вошел хирург, военврач 3-го ранга Казиев.

– Чего не спите, девчонки? – спросил он. – Завтра будет не до сна. Добирайте сегодня. А то как бы вам не свалиться. – Он добрыми глазами посмотрел на Марьяну и вышел.

– Хороший мужик, – сказала Тамара. – Слыхала я – большой был доктор у себя на Кавказе. Правда?

– Правда, – согласилась Марьяна.

Она жалостливо подумала: «О нас побеспокоился, а самому каково придется? Вдруг прихватит...» Под величайшим секретом одна из женщин-врачей сообщила Марьяне: тяжелым недугом страдает их хирург. И вдруг безо всякой связи с предыдущей мыслью, себя за это осуждая, со странным, никогда за собой не замечаемым интересом подумала: приснится ли ей когда-нибудь еще сегодняшний сон?

5

«Сегодня начнет Мерецков, – подумал Сталин. – У этого упрямца должно получиться... Резвости б ему добавить. Упустил немцев из Тихвина, не успел зажать их в кольцо».

Он стоял у плотно зашторенного окна кабинета в Кремле, в котором теперь бывал все чаще. Почти всю осень, с небольшим перерывом, и половину зимы Сталин провел в подземелье станции метро «Кировская», где было оборудовано стационарное помещение для Ставки Верховного главнокомандования. Там он работал и спал, туда вызывал командующих фронтами. Сейчас, когда линия фронта отодвинулась от Москвы, решил перейти в кремлевский кабинет. Товарищи, которые отвечали за его безопасность, пытались возражать, напоминая о злополучной бомбе: она угодила в здание Центрального Комитета партии на Старой площади. Но Сталина убедить не удалось, и вождь все чаще бывал у себя в Кремле, в привычной обстановке, которую не любил менять.

Верхний свет в кабинете был погашен. Горела лишь небольшая лампа на приземистом столе, где лежали подробные фронтовые карты с нанесенной на сегодняшний день обстановкой. Сталин внимательно и сосредоточенно рассматривал их, когда оставался в одиночестве.

Сталин продолжал думать о Мерецкове и завтрашнем наступлении, которое начнет Волховский фронт. Ему вдруг вспомнился взволнованный голос Жданова, который по телефону днем докладывал о тяжелейшем положении Ленинграда.

«Потерпите, – сказал Жданову Сталин. – Мы здесь понимаем, как трудно ленинградцам. Но теперь осталось недолго... Вы меня понимаете, товарищ Жданов?» – «Понимаю, товарищ Сталин», – ответил Жданов, и слышно было, как он вздохнул.

Сталин вспомнил об этом и поморщился. Тогда, днем, он отнес эмоциональную несдержанность секретаря ЦК за счет естественного беспокойства о судьбе города. Теперь, когда минуло время, Сталину показалось, что в ждановском вздохе был некий осуждающий оттенок. Дескать, мы-то, конечно, потерпим, а вот как случилось, что вообще докатились до такого положения?..

«Вздыхает, – раздраженно подумал Сталин. – Слишком стали чувствительны все. А на чувствах далеко не уедешь. И тем более не выиграешь войну».

Сталин не захотел даже самому себе признаться в том, что понял, кому адресован упрек в виде вздоха. Разреши он себе понять это – несдобровать тогда Андрею Александровичу. Но Сталин верил в преданность Жданова, насколько он вообще мог кому-либо, включая самого

себя, верить. А таких, как Жданов, у Сталина осталось немного. Теперь он берег их скорее инстинктивно, подсознательно, боясь остаться в полном одиночестве...

Обладая рядом сильных качеств, именно сильных, положительными качествами в общечеловеческом смысле Сталин не обладал, он был незаурядным человеком, поставившим перед собой задачу навсегда и бесповоротно освободиться от любых эмоциональных слабостей. При его железной воле, способности заставлять людей безропотно подчиняться, огромной работоспособности, феноменальной памяти и поистине одиссеевой хитроумности жестокую натуру Сталина отличал трагический недостаток: Сталин не умел и зачастую не хотел учиться на собственных ошибках. Разумеется, он был способен любой ценой исправить запутанное положение, умел найти выход из тупиковых ситуаций, которые нередко возникали из-за его же собственных просчетов, но всегда поворачивал дело так, чтобы виноватыми оказывались другие.

Ореол непогрешимости, который окружал личность вождя с начала тридцатых годов, не позволял широким массам советских людей ни на йоту усомниться в том, что во всех перекосях, возникающих в процессе строительства социализма, виноват не Сталин и его окружение, а классовые враги, завербованные буржуазными секретными службами. Ошибочный, как показало грядущее, тезис Сталина о неизбежном обострении классовой борьбы по мере дальнейшего продвижения государства к социализму стал определяющим политическим фактором, списывающим многочисленные нарушения законности и правопорядка в стране. Эти нарушения объективно ослабляли государственную мощь, порождали тенденцию недоверия к людям, а недоверие, когда отсутствие веры необоснованно, вещь опасная.

Воскресный день июня прошлого года Сталин не любил вспоминать. И при всем при том он, до последней минуты не веривший многочисленным сообщениям разведчиков о надвигавшейся войне, не считал себя виновным в происшедшем. «Нужна ли была советскому народу, делу строительства социализма война с Гитлером? – спрашивал он себя. И отвечал: – Нет, не нужна. Все ли сделал я, чтобы предотвратить ее? Разумеется, все. Ну а в том, что мы оказались недостаточно подготовленными к войне и немцы застали нас врасплох, виноваты военные. Некоторые из них, вроде Павлова, растерялись, потеряли управление войсками, допустили панику, пропустили немцев к Москве. Пришлось взять руководство войной в собственные руки. И что же? Остановили мы все-таки немцев. А потом и погнали их обратно... Фактор внезапности. Да, он позволил противнику застать нас врасплох, – усмехнулся Сталин. – Но теперь этот фактор сработал против них».

Вождь был прав. Для германской армии контрнаступление Красной Армии под Москвой было неожиданным. И это, безусловно, помогло нашим войскам одержать значительную и материальную, и психологическую победу.

А тогда, в сорок первом году? Что это было? Преступная близорукость на государственном уровне? Неоправданная самонадеянность? Стремление выдать желаемое за действительное? Странная страусовая политика!

Предвоенные недели полны парадоксальных фактов. Пятого мая 1941 года Сталин выступает перед выпускниками военных академий и произносит трезвые и, самое главное, своевременные слова о том, что не может сказать, грянет война завтра или послезавтра, но что столкновение с Германией неизбежно – это точно. Сталин призывает командиров быстрее вернуться в части и готовиться к войне. А четырнадцатого июня появляется известное сообщение ТАСС, которое дезориентировало военачальников и притупило бдительность войск.

...Сталин протянул руку и медленно отвел в сторону край тяжелой портьеры. За окном была глубокая ночь. Да и ему пора уже спать. Но сон не приходил – сегодня вождя, несмотря на тревожный звонок Жданова из Ленинграда, не оставляло приподнятое настроение.

Сталин смотрел в ночь.

«Теперь я воюю сам, – подумал он. – Мирный человек, никогда не стремившийся к военной карьере, вынужден взять в руки меч...»

Пожалуй, сейчас Сталин был искренен с самим собой. Да, он не был военным человеком. Во времена Гражданской войны часто выезжал на фронт по заданию Центрального Комитета партии большевиков, но его роль при этом была скорее политической. Правда, надо отдать ему должное, Сталин, став генеральным секретарем, лично вникал в вопросы создания новых видов оружия, порой снисходя до мелочной опеки.

«Москва в безопасности, – думал он, – и это для нас главное. Двадцатая армия генерала Власова перешла в наступление в районе Волоколамска и прорвала немецкую оборону на реке Лама. Наш прорыв у Ржева неуклонно расширяется... Противник в «мешке» у Сухиничей! Еще немного – и группа армий «Центр» перестанет существовать. На юге в целях освобождения Харькова, Полтавы и Днепропетровска маршал Тимошенко готовит ряд охватывающих ударов с юго-востока против Семнадцатой армии, в районе Изюма, а со стороны Белгорода он ударит по Шестой армии...»

Сталин не догадывался, а если б ему и сообщили, то не поверил бы, что немцы уже оправились от той растерянности, в которую их повергло наступление русских в начале декабря сорок первого года. Да, сила удара и размах зимнего контрнаступления Красной Армии были таковы, что центральная часть германского фронта была поставлена на грань катастрофы. Выдохшиеся на подступах к Москве, измотанные усиливающимся сопротивлением советских солдат, армии группы «Центр» оказались не подготовленными к неожиданному повороту военных событий.

Перед солдатами фельдмаршала фон Бока, а затем фон Клюге, который сменил заболевшего командующего, зловеще замаячила судьба великой армии Наполеона. Высшее командование вермахта высказывалось за немедленный отвод войск и сокращение линии фронта.

В отчаянном положении Гитлер предпринял решительные меры. Он отверг любые помыслы об отступлении, выдвинул два категорических требования: «Ни шагу назад!» и «Удерживать фронт любой ценой!». Для подавления паники, ликвидации пораженческих настроений в войсках по его приказу было сформировано более ста штрафных рот из провинившихся солдат. Из офицеров, поддавшихся панике и отступавших под натиском Красной Армии, немцы создали десять штрафных батальонов. Все штрафники были отправлены на опасные участки фронта, чтобы кровью искупить вину перед рейхом. Позади неустойчивых подразделений были поставлены заградительные отряды. Они получили суровый приказ: беспощадно расстреливать тех, кто попытается самовольно оставить позиции или захочет сдаться в плен русским.

Спустя несколько месяцев, в трудное лето сорок второго года, Сталин творчески использует опыт врага, о чем недвусмысленно заявит в знаменитом приказе № 227 от 28 июля.

Но главный просчет Сталина заключался в том, что вождь недооценил силу сопротивления войск противника и переоценил собственные возможности. Его план уничтожения всех трех армейских группировок врага единым и общим ударом был смел и решителен, если бы опирался на реальные возможности, которыми располагало в начале сорок второго года Советское государство. Однако последнего-то как раз и не доставало. Эвакуированные на восток заводы только разворачивали производство. Значительные нехватки ощущались по всем видам вооружения, в то время как резервы Третьего рейха далеко не истощились. Гитлер, организовав стойкое сопротивление собственных войск, одновременно готовился к летнему наступлению, выдвигал на Восточный фронт новые силы. О них разобьются и попытки Жукова прорваться к Смоленску, и намерение Тимошенко освободить Харьков. Окажется неудачной и Крымская операция. Севастополь придется сдать.

Все это произойдет позднее. А тогда, в начале 1942 года, Верховного главнокомандующего, находившегося под сильным эмоциональным влиянием от разгрома немецко-фашист-

ских войск под Москвой, не покидала надежда на успешное наступление на всех направлениях. Отвергнув план стратегической обороны, предложенный начальником Генерального штаба Красной Армии Шапошниковым, Сталин выдвинул идею общего наступления всеми фронтами, от Ладоги до Черного моря.

«Завтра начнет Мерецков», – снова подумал Сталин, вглядываясь в ночь, будто пытаясь пронизать взглядом пространство и увидеть скованный льдом Волхов и позиции, на которых находятся красноармейцы, готовые к неудержимому броску через эту небольшую, но такую значительную в истории Русского государства реку. Сталин пытался вернуться в своих раздумьях к личности генерала Мерецкова, к которому относился своеобразно, только нечто, засевшее в подсознании и двинувшееся оттуда, мешало ему. Вождь напряг память, пытаясь вспомнить о неприятном, сделал усилие и вспомнил.

Четыре дня назад ему пришлось подписать уязвлявшее его самолюбие письмо к Черчиллю. Сталин помнил эти строки наизусть: «Мне кажется, что Англия могла бы без риска для себя высадить двадцать пять – тридцать дивизий в Архангельске или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции. Это была бы большая помощь...»

Как он мог опуститься до того, чтобы, смирив гордость, звать английскую армию в Россию?! И ведь знал, был уверен, что Черчилль не даст ему ни одного солдата, а просил... Именно это уязвляло Сталина. И даже себе не захотел бы он признаться, что просьба, обращенная к Черчиллю, проистекала от чувства смятения, которое охватило его, когда пали Смоленск, Киев, немцы захватили Шлиссельбург, перерезав коммуникации Ленинграда.

Ему было стыдно от мысли, что Сталин, известный миру железной волей и несокрушимой уравновешенностью, вдруг на мгновение проявил такую понятную в тех условиях человеческую слабость. Нет, понятную и человеческую – это для других. В обиходе Сталина нет таких категорий. Он сделал над собой усилие и усмехнулся.

«Победителей не судят, – подумал Сталин, привычно возвращая себя в состояние уверенности и волевой собранности. Он уже считал, что это был всего лишь дипломатический маневр, а вовсе не такая несвойственная ему, Сталину, растерянная просьба о немедленной помощи. – Скоро, господа союзники, мы станем получать ваши поздравления...»

Мысли его вернулись к Волховскому фронту, к генералу Мерецкову. Сталин как бы спохватился. Он резко задернул штору и повернулся к столу.

Помедлил, размышляя. Потом пересек кабинет мягкой, вкрадчивой походкой, опытный и старый, но сохранивший силу тигр. Позвонил помощнику.

Когда в дверях возник Поскребышев, он увидел вождя в обычной позе с трубкой в руке.
– Вызовите Мехлиса, – распорядился Сталин.

6

Трудно сказать, почему комбат Федор Скублов взял Степана к себе связным. То ли пожалел красноармейца, из-за невысокого роста да худобы Чекин казался и вовсе малолетком, то ли посчитал, что на переднем крае от него небольшой толк, так пусть останется при нем, чтоб не брать из траншеи полноценного красноармейца... Словом, попал Степан Чекин комбату под крыло и не раз благословлял судьбу. Федор Федорович научил его почти всему, что знал сам, разве что самолетом управлять не учил за неимением такового. Был Скублов раньше летчиком, да за какой-то грех, о нем комбат не распространялся, попал в пехоту.

Осенью батальон отошел с остальными частями к Ораниенбауму. Хватил Чекин лиха и там, а потом воевал на Пулковских высотах, у Восьмой ГЭС, не пускал немцев в Ленинград. К зиме батальон обосновался на Невской Дубровке, на правом берегу реки. А на левом –

немцы... Так и стояли друг против друга. Время от времени приезжали из штаба решительные такие командиры, спрашивали комбата: «Хочешь Героем стать? Готовь атаку на тот берег». Если б Скублов так вот и предложили выбирать – другое дело. А у них еще и приказ на захват плацдарма лежал в планшете. А куда ты против приказа? По команде мчались через невский лед, стремясь пересечь открытое пространство. Немцы стреляли по бегущим вполне прицельно, но поначалу били из орудий позади, чтобы вскрыть лед и отрезать русским отступление.

Однажды, возвращаясь после одной из таких атак, а если быть честным, то попросту удирая со всех ног к своему берегу, Чекин вилял-вилял мимо дырок во льду и промахнулся: врезался в полынь. А мороз был страшный. Ему успели подать руку. Неизношенное сердце выдержало ледяной удар. В траншее разрезали на Степане заледеневшую одежду, а ноги оказались сухими, потому как бегал он к немецкому берегу в ботинках и обмотках. Тогда и понял Чекин, что эта обувь лучше будет для бойца, нежели сапоги.

В часы затишья комбат Скублов учил Степана разбираться в оружии. И в отечественном, и в трофейном. Особо рьяно взялся за связного после того, как тот чуть не поднял их с комиссаром на воздух. А началось все с офицерского ремня. Ремень ему, Степану, подарил комбат. И в тот же день выдали связному автомат ППД и четыре осколочные гранаты, страшные в умелых руках, приемистые для броска из укрытия. Приладил Степан ремень по шуплой талии и видит: слева и справа тренчики висят, колечки такие. И на гранатах колечки. Смекнул – вот сюда их и цепляют. Припомнил кинофильмы про Гражданскую войну. Там, в кино, к поясу за кольца вешали «лимонки» анархисты и революционные матросы. Подвесил гранаты и Чекин, по две на каждую сторону, автомат на грудь и отправился показаться комбату.

Вошел в землянку, улыбаясь и ожидая одобрительного восклицания. Но комбат как увидел его, так и замер. Чекин двинулся было вперед, пытаясь что-то объяснить, но Скублов придушенно проговорил: «Не подходи... Стой на месте!» Степан остановился. Комиссар осторожно приблизился к нему, медленно расстегнул пояс с гранатами, бережно отнес их в угол, опустил и едва выпрямился, как Федор Федорович, успев прийти в себя, с левой руки, он был левшой, залепил связному оплеуху вполсилы. И то Степан едва устоял на ногах.

Тогда и стал Федор Федорович учить связного разбираться в оружии. Ну и повоевать ему давал. Ходил с ним на позиции. Они брали винтовку с оптическим прицелом, постреливали по немцам, в сорок первом фашисты были наглые и беспечные. Когда пятерых на Степановый счет записали, присвоили ему звание сержанта. А после Нового года простился комбат со связным.

– Ты теперь уже не птенец, Степан, – сказал Федор Федорович. – Прямо скажем – молодой ястребок. Вот и поезжай учиться в военное училище на командира. Глядишь, и меня обгонишь, закончу войну под твоим началом...

...Впереди закричали:

– Не растягиваться! Подходим к берегу...

«Неужели мы все озеро пересекли? – подумал Степан. – Всю Ладогу по льду... Рассказать бы ребятам в классе. Нет, не поверят».

Сержант Чекин не знал, что пересекли они только одну из бухт Ладожского озера. Степан многого еще не знал. Он радовался концу ледового пути и мечтал о коротком отдыхе, на другое рассчитывать не приходилось. Потом их роту посадят в эшелон, и начнется длинный и интересный путь до Барнаула, о котором ребята только и знали, что это город в Алтайском крае. Пройдут месяцы учебы, их петлицы украсят малиновые кубари, может быть, дадут отпуск, и Степан придет в Москву, повидать маму и покрасоваться во дворе в новенькой лейтенантской форме.

Степан Чекин мечтал и даже не предполагал, что курсантскую роту, составленную из лучших красноармейцев и сержантов Ленинградского фронта, в самый последний момент решили

не посылать в Барнаул ввиду готовящегося наступления. Сочли целесообразным развернуть курсы младших лейтенантов в непосредственной близости от боевых действий, чтобы сразу заменять уже обстрелянными ребятами выбывших из строя взводных командиров.

Рота, с которой Степан прошел пешком от Осиновца до Кобоны, вошла в состав курсов, подчиненных Волховскому фронту. А Барнаульское училище помаячило-помаячило в сознании парней и затем исчезло навсегда. Усталые, промерзшие, наголодавшиеся на той стороне Ладоги, сейчас они торопливо поглощали горячее варево, которым их кормили после перехода, и не подозревали, что скоро пойдут снова к тому городу, который недавно защищали. Пойдут другой дорогой. Она будет трудной, невыносимо трудной. Но пройдут они ее до конца. Почти для всех дорога эта будет последней в жизни.

7

Александр Георгиевич Шашков, начальник Особого отдела Второй Ударной армии, перед началом войны возглавлял Управление НКВД Черновицкой области. Хозяйство ему тогда досталось беспокойное. Территория области еще недавно находилась в составе королевской Румынии. Среди ее пестрого населения – от вольнолюбивых, не признающих никакой власти вообще цыган до затаившихся русских белоэмигрантов – могла надежно укрыться законспирированная агентура потенциального врага. И хотя в тридцать девятом году с гитлеровской Германией был заключен Пакт о ненападении и любые критические выпады в адрес этого государства строго пресекались, чекисты прекрасно отдавали себе отчет в том, кто является их возможным противником, от кого им ждать удара.

Пыталась вести свою шпионскую игру и боярская Румыния, но деятельность ее секретных органов не шла ни в какое сравнение с работой германских тайных служб, обладавших высоким профессионализмом.

Работал Александр Шашков много и с увлечением. Недавно отметил свое сорокалетие, чувствовал себя более мудрым и сильным. Старые раны не беспокоили, могучее здоровье, которым он всегда отличался, взяло верх над давними следами ударов бандитского, басмаческого и белопольского свинца. а ведь был на волоске от смерти, когда при ликвидации банды братьев Блажиевских одна из шести пуль, доставшихся его большому телу, насквозь пробила сердечную сумку. Спасла его неистощимая жизненная сила да терпеливая Лариса, не отходившая три месяца от больничной койки Александра.

Плох он был тогда. Полдюжины дырок хоть кого в могилу сведут, а Шашков выжил. Пока выправлялся, его даже от оперативной работы временно отстранили. А теперь и забыл, как стреляли в него бандиты, в упор стреляли...

В тот субботний вечер Александр Георгиевич пришел со службы около двенадцати. Лариса не ложилась, прогуливалась рядом с коттеджем, в котором они жили, с их сеттером, премилой собакой по кличке Альма.

Озабочен был начальник НКВД. Третий день ему докладывали, что в городе ходят упорные слухи о скором приходе румынских войск. Расхватывают продукты в магазинах, резко поднялись цены на базаре, в одном из районов обстреляли машину с красноармейцами, жертв, правда, нет. Смутное чувство беспокойства не оставляло Шашкова.

А вот увидел жену – и будто осветило душу, заулыбался.

– Ужинать будешь, Саша? – спросила Лариса.

– Чай недавно с ребятами в управлении пили, не хочется ничего... Пойду наверх, на детишек взгляну.

Едва Шашков успел подняться, чтоб посмотреть на спящих уже Нину и Колю – за день набегаются, и сил дожидаться отца уже не хватает, – внизу зазвонил телефон... Лариса взяла трубку. Вызывали, конечно, Шашкова. Звонил его заместитель, и голос у него был неесте-

ственно спокойный. Она сразу поняла: случилось неожиданное, знала характер Сашиного зама. Чем опаснее было положение, тем спокойнее внешне становился этот человек.

Шашков узнал о войне за три с лишним часа до того, как она началась... С другой стороны пришел его человек и передал неопровержимые доказательства того, что вскоре и случилось. Начальник НКВД срочно сообщил в Киев, но, кроме дежурного по комиссариату, никого разыскать не смог, руководство Наркомата внутренних дел проводило воскресенье за городом...

А потом все так завертелось, что до сих пор Шашков не может четко разделить события по дням и часам. Все смешалось в крутящийся и ломающий временные и пространственные перегородки ком. Слава богу, успел посадить Ларису с детьми в машину и отправить в Киев. На прощанье дал ей пистолет. «Ежели что – живыми не попадайтесь, – наказал Ларисе. – Помните – вы семья чекиста... Церемониться с вами не будут». Он знал, что говорит. Он вообще знал о войне и фашистах куда больше, чем те люди, от которых с тридцать девятого года, после заключенного с Гитлером Пакта о ненападении, неразумно скрывали, что за зверье воцарилось там, в бывшей цивилизованной Германии.

Александр Георгиевич вздохнул и потянул к себе папку, на которой значилось «Совершенно секретно». Усмехнулся, взглянув на гриф. Понимал, что любые документы, проходящие через аппарат его организации, должны быть секретными, вплоть до ведомости на зарплату штатным сотрудникам. А нештатным тем более... Но в этой папке хранились сведения о его новых противниках – руководителях абвера в группе армий «Север». Да, у немцев эти сведения секретны. Но если теперь они оказались у нас, от кого же теперь охраняет этот гриф? «Много рассуждаешь, товарищ Шашков», – сказал себе Александр Георгиевич, раскрыл папку и принялся знакомиться с материалами.

Документов было немного. Собственно говоря, у недавно сформированного Особого отдела фронта, которому он подчинялся, их вообще не было. Эти сведения передали им ленинградские особисты, они уже с осени прошлого года общались со службой адмирала Канариса. «Что ж, начнем с того, что добыли коллеги, – подумал Шашков, – а там примемся работать и сами».

Так, в группе армий «Север» отделом 1Ц, войсковой разведкой, руководит подполковник Лизонг, а в 18-й армии – майор Вакербард. Что о них известно? Почти ничего, кроме того, что резиденция майора – в деревне Лампово, недалеко от станции Сиверский, где находится штаб Кюхлера, командующего 18-й армией.

Начальник Особого отдела посмотрел на карту. Сиверский находится в направлении главного удара Волховского фронта, значит, деревня Лампово... Там находились армейские разведчики. Но главная опасность будет исходить не от них. Гораздо больших пакостей надо ждать от абверкоманд и абвергрупп, приданных войскам. В них более квалифицированные специалисты, умеющие моментально использовать любую допущенную нами слабину.

Сначала посмотрим, кто там во главе абверкоманд при группе армий «Север». Шimmel... Подполковник Ганс Шimmel. Возраст – за пятьдесят. Шпионский стаж солидный – начал действовать на территории России еще в Первую мировую войну. До нападения на Советский Союз руководил разведшколой неподалеку от Кенигсберга. Сейчас возглавляет абверкоманду-104. Это разведка...

С Шimmelем более или менее ясно. А диверсионной работой руководит в зоне группы армий «Север» начальник абверкоманды-204 полковник фон Эшвингер. Фон Эшвингер...хлопот нам доставит немало этот «фон». Находится его контора в Пскове.

Теперь посмотрим, что у них по третьему отделу – контрразведка. Так... Абверкоманда-304, майор Клямрот, заместитель у него Мюллер. Мюллер... Хорошая фамилия для контрразведчика, незаметная. Известно, что подчиненная Клямроту абвергруппа-312 находится в Гатчине. Одним из ее сотрудников является обер-лейтенант Розе. Сведения добыты из

протокола допроса разоблаченного агента, которого вербовал этот самый Розе. Впрочем, это ничего не значит. Обер-лейтенант во время вербовки мог выдумать себе псевдоним. Вообще, подобное не в практике официальных контрразведчиков, им нет нужды скрывать подлинное имя.

Это все сведения по абверу. А что им обещает гехаймфельдполицай – тайная полевая полиция, это фронтовое гестапо? Тут вот еще ориентировка по абвергруппам, действующим непосредственно в расположении войск армии Кюхлера. Это нам поближе.

Но познакомиться со своими непосредственными противниками начальнику Особого отдела не дали. В дверь резко постучали. Шашков не успел произнести ни слова, как она отворилась и в комнате появился генерал-лейтенант Соколов.

– Не помешал? – спросил он Александра Георгиевича. – Да ты сиди, сиди... Чего вскочил? Я тебе уже не командир, нечего передо мной тянуться.

– Старший по званию, – улыбнулся Шашков. – И по должности...

Соколов махнул рукой:

– Не говори... Были когда-то и мы рысакими. Вот проститься с тобой пришел, Александр Георгиевич. Завтра улетаю. Отзывают в Москву. Вы, значит, в наступление, немцев бить, а меня... Справедливо разве?

Начальник Особого отдела пожал плечами. Что он мог ответить бывшему командиру, с которым прослужил во Второй Ударной – тогда она была еще Двадцать шестой армией – всего около двух месяцев? Посочувствовать разве...

– И чего он на меня взелся? – спросил Соколов. – Чем я хуже других... В Гражданскую воевал – ценили, контрреволюцию после ликвидировал – был на хорошем счету. А теперь... в распоряжение Ставки. Нет, он просто-напросто не любит нашего брата, этот Мерецков, зуб у него на НКВД. Как твое мнение, Шашков?

– Видите ли, товарищ генерал-лейтенант...

– Да ты не величай! Давай по-простому, я ведь к тебе как чекист к чекисту пришел, Александр Георгиевич.

Генерал-лейтенант Соколов был раньше заместителем наркома внутренних дел, Шашков знал его и до войны. Человеком Соколов был энергичным – идеи и предложения так и сыпались, но что касается военного дела, то здесь кругозор Соколова закрепился на уровне командира эскадрона, которым он командовал в Гражданскую войну. Соколов не понимал, попросту не в состоянии был постичь современные методы войны, оперативные задачи, стоящие перед армией, были для него тайной за семью печатями. Генерал смутно представлял себе складывающуюся обстановку, плохо знал положение в дивизиях и бригадах, но твердо верил, что в решительную минуту он возникнет перед войском на белом коне и бросит армию в атаку. Суворов и Чапаев – с них брал пример генерал Соколов и считал, что, если подражать этим полководцам, дело пойдет.

Александр Георгиевич вспомнил знаменитый приказ командарма № 14 от 19 ноября 1941 года, превративший его автора в сомнительную знаменитость.

Генерал Соколов приказывал:

«1. Хождение, как ползание мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так: военный шаг – аршин, им и ходить. Ускоренный – полтора, так и нажимать.

2. С едой не ладен порядок. Среди боя обедают и марш прерывают на завтрак. На войне порядок такой: завтрак – затемно, перед рассветом, а обед – затемно, вечером. Днем удастся хлеба или сухарь с чаем пожевать – хорошо, а нет – и на этом спасибо, благо день не особенно длинен.

3. Запомнить всем – и начальникам и рядовым, и старым, и молодым, что колоннами больше роты ходить нельзя, а вообще на войне для похода – ночь, вот тогда и маршируй.

4. Холода не бояться, бабами рязанскими не обряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом!»

Однажды Шашков застал своих сотрудников, когда они переписывали этот приказ себе на память и коллегам из соседней армии на потеху. Что он мог теперь сказать этому человеку, который был по-своему честен, только никак не хотел понять, что жизнь умчалась вперед, оставив его на захолустном полустанке...

– Должен вам сказать, Григорий Григорьевич, – начал Шашков, – дело впереди серьезное, и ответственность у Мерецкова огромная. Идем выручать ленинградцев. Трудно им там сейчас... И торопиться надо. А подготовились мы плохо. Это вы лучше меня знаете. А главное – немцам известно о наших намерениях.

– А ты куда смотрел, особист? Допустил, значит, утечку...

– Нашей вины здесь нет, товарищ генерал. Они узнали о Волховском фронте уже спустя десять дней после решения Ставки. И сейчас спешно готовятся отразить наши атаки. Только наступать мы все равно будем!

– Без меня, – угрюмо проговорил Соколов. – А ты не вилай, Шашков. Прямо скажи: правильно меня сняли?

– Вам бы трудно пришлось, товарищ генерал. Все эти годы, после Гражданской, вы были на другой работе.

– А Клыков? – спросил бывший командарм. – Он что – лучше?

Генерал-лейтенант Клыков командовал Пятьдесят второй армией. Она уже несколько месяцев воюет на Волховском направлении. Опыта ему не занимать...

– Понял тебя, Шашков, – сказал Соколов. – Поддерживаешь Мерецкова. Ну-ну... А я все-таки считаю, что он меня съел, потому как я из НКВД. И поставил успех выполнения приказа Ставки под угрозу. Где это видано, чтоб за два-три дня до наступательной операции меняли командарма? На тебя не обижаюсь, ты при своем деле, опять же остаешься в армии... Будешь с Клыковым служить. Но в Москве обо всем расскажу... Пусть прикинут, почему командующий фронтом нашего брата не любит.

– Но этот вопрос согласован с Верховным, – осторожно напомнил Шашков. Ему хотелось сдержать энергию Соколова, которую тот мог направить сейчас вовсе в нежелательную сторону.

– Ну и что? – запальчиво сказал генерал-лейтенант. – И на солнце бывают пятна...

Тут он осекся и недоуменно посмотрел на Шашкова, словно спрашивая: что я такое брякнул?

– Ты, это самое, – вдруг запинаясь, заговорил бывший командарм. – Я другое хотел сказать... Ну, значит, доложили Верховному не так. Или еще там что... Понимаешь?

Соколов заторопился и суетливо стал совать Шашкову руку:

– Значит, до свиданья, дорогой Александр Георгиевич. Авось и послужим вместе когда. Собираться пойду. Поговорили по душам – и ладно. Спасибо тебе... И, это самое... Не распространяйся про мои обиды. Все решено правильно. Отозвали – значит, в другом месте нужен, ну, бывай. Пошел я.

Пожав руку начальнику Особого отдела, бывший командарм вышел. Александр Георгиевич смотрел ему вслед и думал, что, конечно же, Мерецков прав. Сам Шашков уже хлебнул сполна, повидал похожих на Соколова командиров, когда вместе с украинской группировкой оказался в окружении. Четыре наши армии попали в «котел» у Киева! Полмиллиона пленных... Даже вспоминать тошно.

Шашков снова раскрыл папку и вдруг вспомнил, что хотел написать открытку Володе Степанову в Москву. Надо сделать это сейчас, не то замотаешься с делами и забудешь.

«Привет, дорогой друже Володя!» – начал было Шашков, но остановился, подумал, как сообщить Володе, где он и что собирается делать. Позабавила мысль о том, как он, чекист, будет сейчас обходить военную цензуру. Вспомнил, что Степанов знает, где служит брат Николай, и написал: «Настроение хорошее, нахожусь недалеко от Коли. Скорее бы начать бить этих гадов-басурманов. Скоро пойду выручать братуху...» Ну вот, Володя сам чекист, сразу разберется. «Как твои устроились в Свердловске? Напиши мне. Спасибо за весточку о моей семье. Ларисе написал, желаю тебе благополучия, мой дорогой товарищ-друг. Обнимаю тебя. Твой Саша».

Положив открытку рядом с письмом к жене, в Семипалатинск, Шашков поднялся и вышел в соседнюю комнату, где находился дежурный Особого отдела.

– Соберите сотрудников, – сказал Шашков. – Через полчаса совещание. У меня...

Разошлись далеко за полночь. Александр Георгиевич хотел еще поработать с документами, но сильно заломило спину, сказывалось перенапряжение.

«Почитаю лежа», – решил он и расположился с бумагами на деревянном топчане, прикрытом тюфяком, который набил сеном его ординарец.

Шашков изучал материалы об абвере еще с полчаса. Потом почувствовал, как обволакивает сознание туманом, и очнулся, когда рука с листками упала и безвольно свесилась вниз. Пересилив сон, Шашков поднялся, убрал папку в сейф, закрыл его и спрятал ключ в нагрудный карман гимнастерки, вытянулся на сеннике, вздохнул и стал размышлять о завтрашнем наступлении. Где-то на краешке сознания замаячило лицо Ларисы. Александр Георгиевич подумал: в Семипалатинске скоро наступит утро, и это было последнее, что воспринял еще осознанно.

Его доброе лицо, которое на людях Шашков стремился делать суровее, осветилось. Начальник Особого отдела армии во сне улыбался. Он играл сейчас с сыном в футбол.

8

Генерал-полковник фон Кюхлер в сентябре 1939 года, будучи еще в звании генерала артиллерии, командовал Третьей армией, вторгшейся в обреченную Польшу с севера из нависшей над Варшавой Восточной Пруссии. Имея перед своим фронтом польскую столицу, фон Кюхлер выходил левым флангом к демаркационной линии – будущей новой границе Советского Союза, к Белостоку. Назначенный командовать Восемнадцатой армией в группе армий «Север», фон Кюхлер 22 июня 1941 года нарушил государственную границу СССР и, встречая довольно незначительное сопротивление, быстро продвинулся через Елгаву в направлении столицы Советской Латвии. Через две недели гитлеровские полчища стояли уже у псковских земель. Когда пали Нарва и Луга, армия штурмом взяла Шлиссельбург и перерезала все сухопутные коммуникации, соединявшие Ленинград с другими районами страны. Местами дивизиям фон Кюхлера удалось подойти к окраинам города. В 13-м районе Стрельни и Петергофа они вышли к Финскому заливу, отрезав в Ораниенбауме части Восьмой армии Ленинградского фронта, которые так и остались там, не сдвинувшись ни на шаг и надежно прикрывая собою Кронштадт с суши.

На этом успехи немецких войск закончились. Не сумев взять Ленинград с ходу, противник подверг город блокаде. И вот теперь активные действия русских на Волховском участке серьезно беспокоили генерал-полковника. Это беспокойство усугублялось недавним разговором фон Кюхлера с Францем Гальдером. Начальник Генерального штаба Сухопутных войск сообщил, что фельдмаршал Риттер фон Лееб подал рапорт об отставке. Фюрер еще не принял решения, кем заменить его на посту командующего группой армий «Север», но ему, фон Кюхлеру, надо быть готовым – к тому, чтобы стать преемником фон Лееба.

Генерал-полковник поморщился. Он вспомнил о своем соседе Буше, командующем Шестнадцатой армией. Буш будет вне себя от ярости, когда узнает, что попал под его начало. Фон Кюхлеру известно напряженное положение, в котором находится армия Буша под Старой

Руссой и у Демянска. Там русские постоянно контратакуют. Беспокойный участок... Теперь спрашивать за положение на этом участке будут с него, с фон Кюхлера.

Командующий потер чисто выбритую щеку длинного худощавого лица, достал белоснежный платок и тщательно протер монокль. Генерал-полковник никогда не пользовался им, но со стеклышком на шнурке не расставался, считая его неотъемлемой деталью генеральской формы.

Когда по его звонку вошел адъютант, то увидел, как командующий разглядывает на свет лампы стекло монокля. Не отрываясь от этого занятия, фон Кюхлер спросил:

– Собрались?

– Так точно, экселенц.

– Зовите всех.

Первым в кабинет вошел майор Вакербард, ведающий в Восемнадцатой армии войсковой разведкой. За ним появился зондерфюрер Майсснер. Потом подслеповатый, одетый в мешковатый мундир, поминутно подправляющий пенсне капитан Шот, начальник абвергруппы-112. Вошли представители вышестоящих организаций абвера при армии фон Кюхлера, чины из гехаймфельдполицай. Командующий Восемнадцатой армией проводил широкое совещание с представителями специальных служб, обеспечивающих его войска.

Все расселись и усталились на генерал-полковника. Майор Вакербард беспокойно оглядывался на дверь. Наконец, в дверях появился заурядной внешности офицер в полевой форме оберст-лейтенанта вермахта. Майор Вакербард оживился, встал навстречу вошедшему, подвел к фон Кюхлеру.

– Позвольте, господин генерал-полковник, представить вам нашего гостя. Оберст-лейтенант Ганзен, заместитель начальника «Абвернебенштелле-Ревал» фрегатен-капитана Целлариуса.

– О, – улыбнулся, обнажив крупные зубы, командующий, – я знаком с вашим шефом, оберст-лейтенант. Интересный, незаурядный человек...

– Совершенно верно, экселенц, – склонил голову Ганзен. – Всегда гордимся тем, что служим под началом фрегатен-капитана. Он большой специалист во всем, что касается Петербурга.

«Немудрено, – подумал фон Кюхлер. – Александр Целлариус в конце тридцатых годов возглавлял филиал абвера в Финляндии. Тогда Петербург можно было разглядывать в бинокль. Впрочем, я тоже видел этот город в бинокль... Только в бинокль...»

– Я собрал вас, господа, – начал он, – чтобы сообщить то, что вы должны знать лучше меня. Русские начали наступление на всем волховском участке. Одновременно стали активно заявлять о себе подразделения Ленинградского фронта, особенно в районе отрезанной от него Пятьдесят четвертой армии. Сейчас майор Вакербард кратко охарактеризует обстановку на последний час, а затем я хотел бы услышать от вас, какие сюрпризы приготовили русским ваши специальные службы. Говорите, майор.

– Прошло двое суток, – сказал начальник отдела 1Ц, – как с восточного берега Волхова противник принялся атаковать наши позиции. Это начал действовать новый, Волховский фронт под командованием генерала армии Мерецкова.

– Старый знакомый, – пробормотал фон Кюхлер. – Видимо, Сталин считает его специалистом по войне в этих забытых богом местах...

– Фронт состоит из четырех армий, – продолжал майор Вакербард. – Две из них нам известны по прежним боям. Это Пятьдесят вторая и Четвертая. В связи с тем что русские плохо соблюдают правила радиообмена, а также согласно показаниям первых пленных, удалось установить: из резерва прибыли на Волхов еще две армии – Пятьдесят девятая и Вторая Ударная. Фамилии командармов уточняются. В настоящее время русские атакуют по всему фронту, на расстоянии более ста пятидесяти километров, от озера Ильмень до левого фланга Пятьдесят

четвертой армии. Надо отметить, что новый фронт действует пока без согласования с этой армией, нам это на руку, позволяет маневрировать резервами. Странно, что русские не подчинили эту армию Мерецкову... По истечении двух суток ожесточенных боев частям Второй Ударной армии и правого фланга Пятьдесят второй удалось вклиниться в оборону наших войск на Волховском рубеже. Разведка показывает, что русские определили направление главного удара перед фронтом, Сто двадцать шестой пехотной дивизии и перед правым флангом Двести пятнадцатой. Кроме того, отмечаются крупные сосредоточения сил против грузинского и киришского плацдармов, а также на северо-восточном участке армии по обе стороны Погостья.

Генерал-полковник слушал начальника разведслужбы и думал о том, что необходимо срочно произвести перегруппировку, заменить потрепанные в Тихвинской операции соединения, ведь им не устоять сейчас против массированного удара этого Мерецкова, в первую очередь надо пополнять людьми и техникой сильно ослабленные танковые и мотодивизии 39-го моторизованного корпуса, которые он вывел на отдых в район Любани. Здесь будет самый опасный участок. Если русские исправят свою ошибку и Пятьдесят четвертая армия генерала Федюнинского начнет действовать с Мерецковым согласованно, его войскам в Чудове, Киришах и Любани грозит окружение.

Кюхлер знал, что на киришском участке войска Восемнадцатой армии даже перешли в наступление и Четвертая армия противника вынуждена была занять оборону. Но это не успокаивало фон Кюхлера. После звонка Франца Гальдера из Ставки фюрера у генерал-полковника неожиданно возник блестящий план зимнего штурма Ленинграда. Командующий Восемнадцатой армией хорошо информирован о положении в городе. Силы его защитников были на пределе. Массированный налет в сочетании с артобстрелом – и все танки с мотопехотой двинутся на улицы Петербурга. Лишенный воды, тепла, электроэнергии и продовольствия, город не выдержит такого натиска. То, что не дали ему сделать осенью, он, фон Кюхлер, став командующим группой «Север», совершит зимой. На этот раз русский генерал Мороз будет воевать на его стороне...

И вот Мерецков спутал ему все карты. Судя по всему, русские решили наступать всерьез. Если они прорвутся в тыл армии Буша у Старой Руссы, а его самого сбросят с Волховского плацдарма, всей группе армий придется нелегко. Положение угрожающее. Главное сейчас – остановить Мерецкова...

Генерал-полковник слушал абверовцев и представителей других тайных служб, которые говорили о мероприятиях против русских.

Генерал-полковник не имел ничего против плана диверсионных акций, о них доложил начальник абвергруппы-212. Понравилась ему и идея лжепартизанских отрядов, которые должны были действовать в боевых порядках прорвавшего оборону противника. Одобрил фон Кюхлер и засылку разведгрупп в тылы Волховского и Ленинградского фронтов.

Укравкой наблюдавший за генерал-полковником посланец Целлариуса не смог разглядеть в лице фон Кюхлера ничего, кроме суровой сосредоточенности и вполне понятной озабоченности в связи с наметившимся изменением оперативной обстановки.

Командующий Восемнадцатой армией, который через три дня примет дела у фельдмаршала Риттера фон Лееба, внешне заинтересованно и деловито вел совещание специалистов по тайной войне с противником. И никто из них не догадался бы, что генерал-полковника преследует сейчас одна назойливая мысль, на которую фон Кюхлер не может пока найти ответа: чем ознаменует он вступление в должность командующего группой армий «Север».

– А разве это не так?

– Это именно так, Дмитрий Антонович. Но есть один нюанс, о котором вам не скажут и в Генеральном штабе. Вы знаете, как еще недавно развивалось наступление на центральном участке фронта. В результате немцы отброшены от Москвы, противник понес серьезные потери, как материального, так и психологического характера. Намечаются серьезные мероприятия на юге, в том числе и в Крыму. Но, к сожалению, этот, давайте будем откровенны, временный успех поверг нас в излишне благодушное состояние. Сейчас ряд наших товарищей находится под влиянием необоснованного убеждения: раз немцев побили под Москвой, то нам только этим и заниматься впредь.

– Они еще довольно сильны.

– Правильно. И мы, разведчики, знаем об этом куда больше других. Только наши задачи несколько иные, чем у полководцев, разрабатывающих конкретную операцию. Возьмите, к примеру, Волховский фронт, Дмитрий Антонович. Не буду играть с вами в прятки и сразу же предупреждаю: мы отозвали вас из Ленинграда для того, чтобы вы занялись этим самым молодым фронтом. Так вот. Послушайте, что говорится в директиве Ставки ВГК по поводу задач, стоящих перед генералом Мерецковым: «Войскам Волховского фронта в составе 4, 52, 59 и 2-й Ударной армий перейти в общее наступление, имея целью разбить противника, обороняющегося на западном берегу реки Волхов... В дальнейшем, наступая в северо-западном направлении, окружить противника, обороняющегося под Ленинградом, и во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта окружить и пленить его. В случае отказа сдаться в плен – истребить!» Подписано: Сталин, Василевский...

– Серьезная задача. Хватит ли у нас пороху? Ведь одновременно наступает и Северо-Западный фронт, в направлении Остров – Псков...

– Да, это так. Речь идет о рассечении группы армий «Север» с последующим окружением за Чудским озером. И подобное осуществимо, если...

– Будет обеспечено достаточное количество резервов?

– Вот именно. К сожалению, сил у нас еще мало. Наши армии в состоянии добиться начального успеха, но закрепить его они вряд ли смогут. В то же время противник запасы свои еще далеко не исчерпал. Вы и сами это знаете по своим каналам, да и сообщения наших людей с Запада свидетельствуют, что потери немцев под Москвой на деятельности их военно-промышленного организма существенно не отразились.

– Второго фронта нет. И потому Гитлер может спокойно перебросить на опасный участок войсковые соединения из Европы.

– Для нас это нежелательно, Дмитрий Антонович. Начавший уже наступление Волховский фронт должен снять в первую очередь напряжение в Ленинграде. Положение там из ряда вон...

– Сам видел...

– Тем более. Командарм-18 генерал-полковник фон Кюхлер принял дела у фельдмаршала Риттера фон Лееба. У нас имеются сведения, что он намерен попытаться штурмовать находящийся сейчас в тяжелейшем положении Ленинград. Вам вменяется в обязанность сделать все, чтобы новый командующий группой армий «Север» и думать забыл об этом. Вы, Дмитрий Антонович, должны внушить немцам, что армии Волховского фронта, безусловно, способны дойти до Ленинграда. Это не должно вызывать у них никаких сомнений. И чем больше солдат они снимут с ленинградских позиций и бросят против волховчан, тем серьезнее мы облегчим участь ленинградцев.

– Понятно. Следовательно, мне предстоит...

– Отправиться в Малую Вишеру, вы перейдете к немцам через боевые порядки Волховского фронта. Там, среди болот, противник не держит сплошной линии обороны. Из Малой Вишеры вы попадете во Вторую Ударную. Обеспечивать переход будет майор государствен-

ной безопасности Шашков, начальник армейского Особого отдела. Он предупрежден, хотя и не знает вашего задания. О нем, впрочем, кроме нас с вами, вообще никто не знает. Обычные поручения вам, Дмитрий Антонович, подготовили уже сотрудники нашего управления. Вы меня понимаете?

– Понимаю, Василий Кузьмич. Связь обычным порядком?

– Не совсем. К Шашкову мы отправили особую группу связных. Они будут знать ваши почтовые ящики в Новгороде, Пскове и Сиверском и доставлять оттуда сообщения через линию фронта в Особый отдел Второй Ударной. Ни вы их, ни они вас знать, разумеется, не будут. И не старайтесь немедленно передать даже самое интересное, если есть хоть малейший риск. Вы, Дмитрий Антонович, стратегический разведчик. Не для вас стрельба и похищения, отмычки для сейфа и фотографирование карт. Порою вовремя подсказанная вами мысль может заставить большого человека на той стороне сделать шаг в нужном для нас направлении. А это уже наша общая победа. Будьте осторожны и берегите себя.

– Постараюсь. Один вопрос: может случиться так, что меня через некоторое время захотят отправить оттуда снова на нашу сторону. Где мне выбрать место для перехода?

– В зависимости от положения фронтов. Если операция по прорыву блокады не завершится, переходите снова у Шашкова. Кстати, передайте ему привет. Александр Георгиевич знает меня как Фокина. Мы встречались с ним на Туркестанско-Бухарском фронте в двадцать втором. Он руководил оперативно-разведывательным отделом в Третьей Туркестанской стрелковой дивизии, а я служил при штабе Фрунзе. В то время и заметил этого лихого парня. Отчаянный был рубака. Его тогда по нашему представлению Серебряным орденом Бухарской республики наградили... Да... С Шашковым вы не пропадете. Он из тех, что всегда прикроют тебя грудью. Так ему и скажите: привет от Фокина с Туркестанского фронта. И все... Ни пуха вам, ни пера, товарищ Одинцов.

– Спасибо, Василий Кузьмич.

– К черту, надо говорить, молодой человек! К черту...

10

Генерал-лейтенант Клыков воевать начал с Гражданской. Имел он до того самую мирную профессию. Был Николай Кузьмич ткачом на Трехгорной мануфактуре, в восемнадцатом году рабочие избрали его начальником и комиссаром хлебозаготовительного отряда, а в октябре Клыков вступил добровольцем в 41-й рабочий полк и ушел вместе с ним на фронт защищать революцию. Так начался его путь от рядового красноармейца до командующего армией.

Еще до того, как в декабре 1941 года Мерецков выгнал немцев из Тихвина, перешла в наступление Пятьдесят вторая армия, которой и командовал генерал-лейтенант Клыков. Двигаясь по обе стороны Октябрьской железной дороги, дивизии клыковской армии освободили Малую Вишеру, другие станции и населенные пункты от Большой Вишеры до станции Дубцы и отбросили немцев за Волхов. В ряде мест клыковцы форсировали реку, преследуя врага на его плечах, но противник сопротивлялся, привлёк свежие силы и отжал Пятьдесят вторую армию на восточный берег. И только в районе поселка Водосье и станции Торфяное, находящихся на западном берегу Волхова, продолжала атаковать гитлеровцев 11-я дивизия полковника Рогинского.

17 декабря был создан Волховский фронт, которому Ставкой ВГК в категорической форме предписывалось ни на один день не прерывать наступления, начатого Четвертой и Второй армиями. Линии фронтов этих армий сокращались. Одна смещалась к своему правому флангу, другая к левому, а между ними занимали позиции Пятьдесят девятая и Вторая Ударная, выдвинутые из резерва Ставки.

22 декабря генерал-лейтенанту Клыкову передали в подчинение из Северо-Западного фронта Новгородскую оперативную группу генерала Коровникова.

25 декабря Пятьдесят вторая армия продолжала расширять захваченный ею плацдарм северо-восточнее станции Чудово, пытаясь прорваться к этому важному стратегическому пункту, и одновременно начала перегруппировку войск к своему левому флангу. Генерал Клыков имел четкую задачу: с началом общего наступления Волховского фронта двигаться в направлении Луги, охватывая одновременно Новгород с севера и окружая находящиеся там немецкие части. Левым соседом Клыкова была Одиннадцатая армия генерала Морозова. Это был уже другой, Северо-Западный фронт.

А справа занимала позиции Вторая Ударная... Ее ждали еще 18 декабря, но первые части прибыли только в канун Нового года. Предполагалось, что свежие подразделения Ударной с ходу вступят в бой и помогут клыковцам развить успех. Но к переднему краю была доставлена только живая сила. Сила эта была снабжена из рук вон плохо. Тылы Второй Ударной безнадежно отстали. Николай Кузьмич смотрел-смотрел на это безобразие и распорядился выделить из запасов Пятьдесят второй хлеб, продукты, артиллерийские снаряды... Тогда он, конечно, не знал, что военная судьба накрепко свяжет его со Второй Ударной армией.

Тридцатого декабря Клыков выехал в Малую Вишеру. Он хотел проверить тыловое хозяйство и заодно договориться о координации действий со своим правым соседом. По дороге генерал-лейтенант видел брошенные орудия, грузовики с боекомплектом, они принадлежали Второй Ударной.

В штабе Клыков нашел командарма Соколова и рассказал ему о беспорядке на дорогах. Соколов тут же отдал приказ навести порядок генерал-майору Визмилину, начальнику штаба.

– Когда думаете наступать? – спросил Николай Кузьмич у командарма.

– Сразу после Нового года, – ответил Соколов.

Клыков с сомнением поджал губы, качнув головой.

– Нереально, – сказал он. – У вас тылы еще не подтянулись, второй эшелон небось еще на колесах где-то катит. Поверьте мне, генерал, я воюю здесь с осени. Обстановка сложная. Немцы укрепились еще в августе. Тот берег Волхова – высокий и обрывистый, значительно выше нашего. Это обеспечивает немцам хорошее наблюдение и прекрасный обстрел всего правого берега и подступов к реке. Мы проводили разведку боем в ряде мест их обороны. Эти операции показали, что система огня противника начисто исключает мертвые пространства. Чем вы будете брать противника, если у вас нет снарядов?

– Снаряды есть, – возразил Соколов, – только их очень мало...

– Четверть боекомплекта, – уточнил член Военного совета армии Михайлов.

– Это же анекдот, а не наступление... – усмехнулся Клыков.

– Я докладывал Мерецкову, – начал Соколов.

– И что же он?

– Заверил меня, что все будет доставлено к началу боя.

– Блажен, кто верует, – пожал плечами, проговорил Клыков. – Вы все-таки доложите комфронта, генерал, что надо отложить наступление. Необходимо время, чтобы подтянуть тылы, заготовить огневой запас. Немцев не возьмешь на ура, голых кулаков они не боятся...

Клыков не знал, говорил ли Соколов с Мерецковым, но приказ наступать получили все три армии – его Пятьдесят вторая, Пятьдесят девятая генерала Галанина и Вторая Ударная. Только вот единого общего удара не получилось. Немцы отбили все атаки армии Соколова, и она с тяжелыми потерями отошла на исходные рубежи.

В ночь на 10 января 1942 года командарм-52 получил приказ Мерецкова прибыть в деревню Папоротно. Здесь находился штаб Второй Ударной. Его встретил порученец командующего фронтом капитан Борода.

– Ждут вас, товарищ генерал, все в сборе... Пройдите сюда, – гостеприимным жестом показал Клыкову капитан.

В комнате, куда вошел Николай Кузьмич, находилось трое военных, всех троих Клыков знал: Мерецков, член Военного совета фронта Запорожец и представитель Ставки Мехлис. Запорожец смотрел на прибывшего генерала исподлобья. Мерецков мельком взглянул на него, когда тот стал докладывать о прибытии, и опустил глаза к бумагам, которые лежали перед ним. Мехлис же, напротив, смотрел на Клыкова с благожелательной улыбкой, чему Николай Кузьмич подивился. Всем был известен нелегкий характер представителя Ставки, и улыбка эта Клыкову не нравилась. О судьбе командарма-34 Качанова, расстрелянного на Северо-Западном фронте по приказу Мехлиса без суда и следствия прямо на месте, хорошо знали генералы Красной Армии.

Клыков закончил рапорт. Мерецков оторвался от бумаг и встал:

– Позвольте представить вам: новый командующий Второй Ударной армией генерал-лейтенант Клыков. Можно сказать, ветеран Волховского фронта. Давно здесь воюет. Этот не подведет...

Клыков удивленно смотрел на командующего, потом перевел взгляд на Запорожца.

– Поздравляю, генерал! – выкрикнул Мехлис.

– Да, – продолжал Мерецков, – генерал Соколов отстранен от должности. Со Ставкой вопрос согласован. Принимайте армию, Николай Кузьмич, и продолжайте операцию.

Открылась дверь. Вошли, спросив разрешения, начальник штаба и начальник артиллерии.

– Ваши новые подчиненные, генерал, – сказал Мерецков, улыбаясь.

Улыбка показалась Клыкову вымученной, несколько виноватой.

– Продолжать операцию, – медленно произнес Клыков. – Но с чем ее продолжать? Насколько мне известно, армия снабжена из рук вон плохо...

– Выбирайте выражения, командарм, – строго проговорил молчавший до того Запорожец. – Разумеется, отдельные недостатки имеют место, но...

Клыков перебил члена Военного совета. Повернувшись к начальнику артиллерии, он резко спросил:

– Снаряды есть?

– Нету, – ответил тот. – Все израсходованы.

– Так, – сказал Николай Кузьмич и развел руки в стороны. – Так с чем же, извините, прикажете наступать, товарищ командующий? Без снарядов?

Мерецков вспыхнул.

– Ты военный человек, Клыков! – отчеканил он. – Приказано продолжать операцию, – значит, обязан наступать... Понял?? А за невыполнение приказа знаешь, что с нашим братом бывает? Тоже мне... Разговорился! Я, может быть, сам...

Мерецков запнулся, искоса взглянул на Мехлиса. Лев Захарович молчал.

Клыков затвердел лицом, обозначил скулы, упрямо сжал губы и уставился поверх головы Мерецкова в угол.

Все молчали.

– Итак? – спросил Мерецков. – Ваше слово, командарм...

– Без снарядов, без дополнительного времени на организацию наступательной операции вести армию в бой нельзя, – твердо произнес Клыков. – И вы, товарищ генерал армии, знаете об этом не хуже меня.

– Знаю, но...

Кирилл Афанасьевич вздохнул. Спокойным, усталым голосом сказал:

– Хорошо. Что вам надо, Клыков?

– Снаряды. И время...

– Сколько вам потребуется снарядов?

– Не менее пяти боекомплектов на прорыв немецкой обороны и по два боевых комплекта на каждый день боя. Кроме того, я прошу дать мне пять суток на организацию наступления. За это время необходимо восполнить потери, которые понесла армия...

Мерецков повернулся к Запорожцу:

– Слыхал, Александр Иванович? Дает наш новый командарм... Откуда я их возьму, снаряды? Мне ведь не жалко, только вот где взять... Негде, Клыков. Весь фронт на голодном пайке. Знаешь ведь: наступаем всюду. И здесь, и в центре, и на юге... Все резервы на строжайшем учете Ставки.

«Может быть, поначалу резервы создать, а потом и наступать... всюду», – подумал Николай Кузьмич, но вслух сказать не решился, да и не его это дела – решать за Ставку ВГК.

– Словом, – продолжал Мерецков, – даем на эту операцию по три четверти боекомплекта...

– Курам на смех, – ответил Клыков. – Мне даже как-то странно слышать это, товарищ командующий.

– Александр Иванович, – заговорил Мерецков с Запорожцем, – как ты посмотришь, если мы отдадим Второй Ударной наш неприкосновенный запас? Давай-ка посчитаем.

Кирилл Афанасьевич взял карандаш и лист бумаги, подсел к члену Военного совета, они говорили вполголоса, а Мерецков черкал карандашом по бумаге.

Клыков сначала смотрел на них, потом перевел взгляд на Мехлиса. Лев Захарович вдруг подмигнул ему. Клыкову стало зябко.

– Вот, – сказал командующий фронтом и поднес листок к глазам, – слушай, Клыков. Получишь сразу полтора комплекта, потом, с началом операции, еще два. От сердца отрываем... Доволен?

– Мало, – сказал командарм.

– Ну, знаешь! – возмутился Мерецков и хлопнул листком по столу, припечатал его ладонью.

Мехлис сделал вдруг предостерегающий жест рукой.

– Товарищ Клыков прав, – сказал он. – Что за наступление без снарядов? Действительно, Верховный главнокомандующий требует тщательно беречь резервы. Они нужны для решительного удара, в ближайшее время мы разгромим противника и вышвырнем его с нашей земли к такой-то матери. Верно и то, что вашей операции по освобождению Ленинграда придается огромное значение. Поэтому надо удовлетворить просьбу командарма. Как представитель Ставки обещаю вам, генерал, что вы к началу операции получите три боевых комплекта. Остальные два будут подвезены в ходе боя... Принимайте армию и докажите нам, на что вы способны. Действуйте, генерал!

Мехлис порывисто приблизился к Николаю Кузьмичу, стиснул его руку и потряс ее.

– А время?! – воскликнул Клыков. – Сколько дней даете на подготовку?

– Три дня, – жестко ответил Мехлис. – Ни часом больше... Согласно приказу Ставки Волховский фронт начинает общее наступление тринадцатого января.

11

Лейтенант Кружилин роту вел в атаку впервые. Правда, осенью прошлого года ему довелось три дня командовать батальоном, но тогда были иные условия, да и от батальона осталось меньше полусотни красноармейцев, а с ними раненный в ногу командир полка. Они его все же вынесли к своим. Вскоре ранило и Кружилина, ранило до обидного бестолково. Отводили их часть во второй эшелон на отдых и пополнение, и тут, в сотне километров от переднего края, угодили под бомбежку. Осколок хватанул Кружилина повыше бедра, приличные штаны

из диагонали испортил, полушубок новенький разорвал, а главное – снес с тела добрый кусок мякоти. «Бифштексу состругал», – острил усатый санитар, перевязывая лейтенанта.

Этот «бифштекс» раной оказался нудной и заживающей плохо. Новый год Кружилин встретил в госпитале. А в первых числах января отправился из Вологды в Малую Вишеру, где расположился штаб Волховского фронта. Здесь собрали с сотню выписавшихся из госпиталей командиров. Тут были и носившие на петлице сиротливый кубарь младшие лейтенанты, и мужики с солидной капитанской шпалой.

Кружилин был зачислен во Вторую Ударную армию и принял роту в бригаде полковника Жильцова. Стрелковая бригада готовилась к броску через Волхов на левом фланге армии. Перед ее частями был западный берег реки Волхов, а на нем – поселок Ямно. Вот по нему и следовало наносить удар. Сначала Ямно, а там видно будет.

...Поднялась ракета, рассыпалась зелеными искрами, погасла.

Военным Олег Кружилин был не то чтобы кадровым, но мог считать себя ветераном, поскольку попал уже на вторую в своей жизни войну. Когда в 1939 году началась финская заваруха, Кружилин учился на пятом курсе философского факультета в Ленинграде. Лыжник, чемпион города, Олег оставил университет и отправился штурмовать линию Маннергейма. Ему повезло. Олег не обморозился, не попал под пулю «кукушки», не сумели его снять и финские разведчики, когда Кружилин стоял на посту, а шюцкоровцы проникли в расположение батальона. Олег получил орден Красной Звезды, звание младшего лейтенанта и в университет уже не вернулся.

Финская война и все то, что с нею было сопряжено, заставили Кружилина произвести переоценку духовной базы, на которой он прежде основывался. Олег понял вдруг, как были далеки они, философы-студенты, от того, что именуется Жизнью, Бытием, понял тщетность постижения истины по книгам, предчувствуя, что в недалеком будущем грянут великие испытания для народа, которые необходимо пройти и ему тоже.

...Командиры взводов принялись поднимать людей в атаку, а с того берега, высокого, обрывистого, забили вдруг немецкие пулеметы. Люди поднимались неохотно. Замешкался второй взвод, и Кружилин подобрался поближе, помедлил мгновение, потом быстро сказал себе: «Три, четыре...», удивительно легко, будто тело уменьшилось в весе, выпрыгнул из траншеи.

– За мной! – закричал Кружилин и не оглянулся назад, не допуская и мысли о том, что рота не встанет, не пойдет за командиром.

До восточного берега Волхова шагов двести. Рота преодолела их без потерь, потому что немцы стрелять почему-то перестали. Видимо, ждали, когда русские выйдут на лед реки и превратятся в отличные мишени.

На срезе реки Кружилин не выдержал и обернулся. Изломанной цепью рота шла следом. Красноармейцы бежали молча, лица их были деловиты и сумрачны. Кружилин встретился взглядом со своим ординарцем, сорокалетним усатым бойцом из Кургана по фамилии Веселов. Веселов вдруг озорно подмигнул командиру роты.

Кружилин крикнул: «Вперед!» – и побежал через Волхов.

И тут Кружилин почувствовал вдруг странную отъединенность от всего, что сейчас происходило вокруг. Он знал, что ведет роту в атаку. Перед ним белое-белое поле, замерзший Волхов, покрытый снегом. Это поле надо перейти, перебежать, переползти. Необходимо преодолеть пространство, которое отделяет бойцов от берега. И чем меньше затратят они времени, тем больше сохранится человеческих жизней.

Все это Кружилин осознавал, но сознание его сейчас раздвоилось. Обычное, к которому привык, оно управляло поступками прежнего лейтенанта, заставляло его бежать через волхов-

ский лед, падать с размаху на лед под пулеметными очередями, ползти среди красноармейцев, подбадривая их и заставляя снова подниматься навстречу пулям.

И неожиданно возник второй Кружилин. Вокруг этой личности появился вдруг прозрачный стеклянный кокон. Он позволял видеть происходящее, но как бы не участвуя в событии, хотя этот Кружилин и находился в самой гуще боя. Стеклянный кокон принес с собой щемящее чувство одиночества. «Вот я бегу по замерзшей реке, – думал тот Кружилин, – со всеми вместе... Но я одинок. Мне не страшно, только бы вот соединиться с остальными. Весь мир сузился для меня до размеров стеклянной бочки. Я в бочке. Как князь Гвидон. И здесь я в полной безопасности. Мне ничего не грозит, пока нахожусь внутри. Только когда-нибудь мне придется выйти отсюда. Ведь должен я соединиться с бойцами! Но сейчас я тоже с ними... Кто же ведет их в атаку? Лейтенант Кружилин. И я – лейтенант Кружилин. Значит, я там сейчас и здесь, в безопасной и такой уютной бочке. Хорошо это или плохо? Но как тягостно оставаться одному!.. И умирать без свидетелей тоже плохо. Пуля меня не тронет, пока нахожусь внутри. Но пуля может расколоть стекло, тогда я выйду из заточения и окажусь среди красноармейцев!»

Рота залегла посредине Волхова.

Сильный пулеметный огонь прижал ее ко льду. Соседи продвинулись еще меньше. Командир бригады спешно запросил у артиллеристов огонька. Они дружно ударили по западному берегу. И на мгновение пулеметы замолкли.

Воспользовавшись этой паузой, Кружилин вскочил и снова побежал вперед. Он приметил обрывистый участок берега и сообразил, что там-то и есть то мертвое пространство, которое не простреливается немцами. Только бы добежать до этого пространства. Он видел, что Веселов, тяжело, с хрипом дыша, бежит справа и чуточку позади. «А остальная рота?» – подумал Кружилин, но обернуться не было сил. Ему казалось, что стеклянный кокон наполнился газом и поднимает его надо льдом. Ноги Кружилина не касались замерзшей поверхности Волхова, он попросту перебирает ими в воздухе, и неведомая сила влечет его к западному берегу, влечет, спокойного и уверенного в безопасности. И Кружилин мог двигаться только вперед. Он попробовал поворотиться и не сумел. Олег видел лишь берег реки, куда гнал его некто, более сильный и властный, нежели он сам.

До мертвого пространства оставалось с десяток шагов. Злобно грохотали навстречу пулеметы. Кружилин с тихой яростью и тоской думал о серьезных потерях, которые вызывал, наверное, этот шквальный огонь. В стеклянном коконе Кружилин не слышал пулеметного треска. Он мысленно отсчитывал шаги, будто на счетах выщелкивал костяшками: «Шесть, пять, четыре...» За три шага до безопасного места Олег услышал звон разбитого стекла. И сразу будто дернули за левое плечо. Оба Кружилина слились вместе, и командир роты упал в изнеможении на промерзшую землю западного берега, под спасительным обрывом.

Секундой позже свалился рядом Веселов. «Вас задело, товарищ лейтенант», – утверждающе сказал он. Кружилин отмахнулся. Он смотрел на оставшийся позади Волхов и с удивлением видел, что его рота хоть и поредела, но вовсе не так, как он предполагал. Красноармейцы подтягивались к берегу, а на противоположном на лед осторожно спускали пушки.

– Разрешите осмотреть? – сказал Веселов.

Кружилин шевельнул плечом, почувствовал мокрое в рукаве, но боли не ощутил:

– Пустое. Царапнуло, и только... Давай наверх!

Тут он увидел, как бойцы стремятся подобраться к нему поближе, как птенцы к наседке, и приказал рассредоточиться, не скапливаться под обрывом: ведь их могут забросать гранатами.

Потом лейтенант стал взбираться по правому склону, теперь пулемет бил слева от него. Он взял правее, чтоб зайти пулеметчику в тыл, приготовил гранату. Когда до открытой ячейки оставалось метров двадцать пять, Кружилин поднялся на колени и хотел метнуть гранату. В это же мгновение пулеметчик оторвался от прицела, повернулся, увидел русского офицера и

вскинул руки. Вернее, одну руку, правую. Левую он силился поднять, но этому мешала короткая цепь, его солдат был прикован к пулемету. Он стоял изогнувшись, с искаженным от страха смуглым лицом.

Эта цепь и неловкая поза смертника так поразили Кружилина, что он опустил руку с гранатой. Но тут же справа увидел блиндаж и метнул в его открытую дверь гранату. Глухо прозвучал взрыв.

Когда Кружилин поднялся, немецкий пулеметчик лежал ничком. «Погиб», – с сожалением подумал командир роты. Ему хотелось узнать, за что солдата приковали к пулемету. Немцев, кроме двух трупов на краю воронки, не было видно. Лейтенант подошел к пулеметчику и несильно ткнул его носком в бок. Тот вдруг вздрогнул и встал на колени. Его оливковые глаза умоляюще смотрели на Кружилина. Цепь между пулеметом и его левой рукой натянулась.

– Компаньеро! – сказал вдруг солдат; был он шупловатый, черноволосый, нос с горбинкой, тонкая шея болталась в ошейнике воротника. – Но дойч! Испано... Испано!

– Испанец? – изумился Кружилин. – Откуда же ты тут взялся?

Солдат что-то залопотал, быстро и невразумительно. Он пытался жестикулировать одной рукой.

Прибежал командир первого взвода старший сержант Фролов.

– Заняли первую линию, – доложил он. – Гансы отошли. Во взводе четверо убитых, шестерых зацепило. Двоих серьезно. А вы посмотрите, что у них там, у курвецов, было. – Старший сержант протянул командиру роты зеленый армейский репродуктор: – Такие стояли вдоль берега. Мои ребята семь штук этих хреновин разыскали. Ушлые гады, чего придумали... Вот суки!

Испанец увидел в руках Фролова репродуктор и оживился. Он заговорил, показывая что-то в нише под пулеметом.

– А это что за чучело, мать его за ногу? – спросил старший сержант.

– Говорит, что испанец... Да сбей ты с него эту цепь, – брезгливо поморщившись, сказал Кружилин подоспевшему Веселову.

Освобожденный от пулемета испанец выхватил из ниши микрофон и протянул его Кружилину. От микрофона тянулся провод.

– Но фойер! Но фуэго! Но! – закричал испанец. Он ухватил руками воображаемую гашетку и, запрокинув голову к небу, застрочил поверху: – Та-та-та-та-а!

Теперь Кружилин сообразил, почему так мало было потерь при сильном, как он сам его ощущал по слуху, пулеметном огне. И почувствовал боль в плече.

12

Едва прогремели первые выстрелы наступления, начался нескончаемый поток раненых. Их везли на машинах, повозках, собачьих упряжках, несли на руках. Некоторых вели, бережно обняв, другие шли сами, прижав к груди искалеченные руки или опираясь на самодельные костыли. Медсанбат заполнился страдающими людьми. Они стонали, кричали, плакали, бес- сильно матерились, бредили и звали маму. Тех, кто побывал в руках хирургов и остался жив, брала под опеку эвакорота, отправляла в тыл. Но санитарных машин не хватало, и подправленные на операционном столе бойцы скапливались в медсанбате, довольно скоро превратившемся в истинный ад.

Двое солдат принесли командира роты. Не опуская носилок на землю, они остановились у входа и угрюмо смотрели на Марьяну, она выскочила глотнуть свежего воздуха.

– Глянь, сестрица, – сказал один из солдат, пожилой, с серебристой щетиной на скуластых щеках, – комроты наш. Куда его?

Марьяна откинула зеленую немецкую шинель, ею был прикрыт командир, и отпрянула от носилок. У комроты был вырван живот, внутренности исчезли, из грудной клетки через пробитую диафрагму в полость выполз край розового легкого.

– Кого вы принесли? Он же выпотрошенный весь!

– Как же так? – растерянно пробормотал второй красноармеец, помоложе. – Живой ведь был...

Первый солдат взглянул на командира, отвернулся и принялся быстро и мелко креститься, бормоча неразборчиво.

– Кончился ваш командир, отвоевался, – сказала Марьяна. – Несите его вон к той сараюшке, там покойников складывают. Документы нашему комиссару сдайте. А сами-то целы?

– У меня в боку дырка, – сказал солдат, что помоложе. – А у папаши в плече осколок. Иначе бы из строя не ушли.

Днем работалось еще легко. Отоспались накануне, да и сказывалась некоторая азартность, с которой медики принимали первые жертвы наступления. Они вполне отдавали себе отчет в том, как важна и благородна их работа на войне. И нелегкое дело, которое доверили им, свершали добросовестно и увлеченно, стараясь совместить умелость со скоростью исполнения. Это было сложно, но медики старались.

Закончился короткий зимний день. Быстро надвигалась темень. Но война продолжалась и в темноте, раненые прибывали и прибывали. Глубокой ночью работали уже без порыва, без приподнятости, без чувства удовлетворения от того, что еще одному вернули жизнь, пусть и войдет он в эту новую ипостась калекой. Пришла тупая, подавляющая все мысли усталость.

Наступление топталось на месте. Атаки бойцов разбивались о хорошо укрепленные позиции немцев на левом берегу Волхова, и цепи красноармейцев откатывались, оставляя на ничейной земле убитых и раненых. Под шквальным огнем вытащить их было невозможно, и живые еще люди долгими часами оставались на снегу, тщетно ожидая помощи. Многие так и не дождались ее...

Утром следующего дня атаки возобновились. Кое-где удалось сбить противника с занимаемых позиций и вклиниться в его оборону. Тогда и усилился поток искалеченных, среди которых оказались и обмороженные. И потому опять без устали работали хирургические пилы. Они отделяли пришедшие в негодность конечности. Хирурги пластовали куски живого еще мяса, сшивали кровоточащие разрезы, и очередной калека покидал стол, чтоб уступить место другому страдальцу.

Онемевшие пальцы не слушались врачей. У одного из хирургов судорогой искривило кисть, и медсестра Тамара Бенькова растирала ему руку спиртом. Другой врач пилил-пилил кость ноги чернявому и усатому лейтенанту, остановился в изнеможении, подозвал санитаря: «Пили ты, я смотреть буду, чтоб правильно...» И санитар ерзал хирургической пилой по обнаженной кости, поначалу отворачиваясь, потом провористей, пока доктор копил в себе силы для сложной и точной работы.

Принесли обгоревшего танкиста. Пытались снять с него комбинезон – и не смогли: вместе с обуглившейся тканью сходила кожа, обнажая сочившееся кровью мясо. Хирург Свиридов быстро осмотрел его, танкист был без сознания, и сделал знак: снимайте со стола.

– На нем живого места нет, – сказал хирург. – Не будем понапрасну тратить время. Умрет бедняга через час...

Вдруг в помещении для послеоперационных раздался дикий крик. Санитары и медсестры бросились туда, а военврач Казиев, который искал пулю в раскрытой грудной клетке солдата, даже головы не повернул.

Пришел в себя после наркоза огромный роста старшина с ампутированными по локоть руками и наглухо забинтованным лицом – у него в руках взорвалась граната. Не видя белого света, решил, что его заживо похоронили, и страшная мысль подняла старшину. Он двинулся

вперед и натолкнулся на санитара. Замутненное сознание старшины было во власти навязчивых видений, решил, будто перед ним противник. Исступленно закричав, старшина обхватил санитара похожими на ласты обрубками и силился свалить его на землю. С трудом старшину смогли удержать, чтоб Марьяна ввела ему морфий. Она побыла с ним рядом, пока старшина не затих, и прислушалась, как раненые бредили.

– Обходи слева! Прикройте меня! – требовал один.

– Маша, Маша... Мне больно! Где ты? – звал из угла горячий голос.

– Не нравится, суки?! Так вас, гады! Подавай ленту, Вася!

– Мой костер... Искры гаснут на лету... А-а-а! Мать вашу... Холодно! Замерзаю... Глотнуть дайте! Где моя фляжка?

– Не подходи! Стрелять буду! Не подходи...

– Мама, мама! Меня кусают... За ноги кусают! Оттони собаку...

Вошел командир медсанбата Ососков.

– Караваева, – строго сказал он, – расслаживаешься. А там полно шоковых. Иди к себе.

Она посмотрела на старшину. Старшина спал. «Что с тобой будет, когда очнешься?» – подумала Марьяна. У входа в шоковое отделение Марьяна едва не столкнулась с санитаром Шмакиным. Он тащил из операционной эмалированный бачок с крышкой. В бачке находились части человеческих тел, которые хирурги не смогли приладить... Марьяна посторонилась. Санитар шагнул мимо нее, потом вдруг зашатался, колени подогнулись, и Шмакин стал мешком опускаться наземь. Марьяна успела схватить его за ворот некогда белого, а теперь уже грязно-красного халата, надетого поверх шинели, но бачок Шмакин из рук выпустил и сам повалился на бок, уронив крышку. Содержимое бачка медленно поползло наружу.

– Вставай, Шмакин, вставай! – закричала Марьяна. Она изо всех сил, теперь уже двумя руками, пыталась поднять санитару, хотя бы удержать, не дать ему упасть на эту кучу костей и мяса.

Откуда ни возьмись, возник военврач 3-го ранга Ососков, их командир медсанбата. Он ударил санитару по щеке, потом по другой. Шмакин заморгал... Марьяна почувствовала, как его обмякшее тело обрело уверенность, и санитар встал на ноги, раскачиваясь.

– Дайте ему нашатырного спирта, старшина, – распорядился Ососков. – Обморок... Третьи сутки на ногах и без сна, вот и скис мужичок. Держись, Шмакин, держись! Да приберите здесь, – командир медсанбата показал рукой на опрокинутый бачок.

– Давай сначала это вынесем, Шмакин, – сказала Марьяна.

Она подняла бачок за край и увидела в куче желтую пятку с белесыми мозолями по краям. У Марьяны мелькнула мысль: не надеть ли перчатки. Мысль показалась ей смешной и праздной. И она равнодушно ухватила пальцами за пятку, подняла ампутированную ступню и бросила в бачок. Потом ей попалась раздробленная кисть. Соскальзывали с пальцев сине-зеленые кишки, местами разорванные, видимо, осколком. Когда бачок был наполнен вновь и Марьяна взялась за ручку, чтобы помочь санитару вынести, Шмакин остановил ее.

– Сам сделаю, – сказал он, – мое это дело, сестрица. А понюхать спиртику потом забегу.

– Забегай, – сказала Марьяна и отправилась выводить пострадавших из шока: их нельзя оперировать в таком состоянии.

В середине второго дня случилось несчастье с хирургом. Военврач 3-го ранга Казиев почувствовал себя плохо. У него начались почечные колики. Боль он испытывал невыносимую. Самому впору завывать от страданий, а права такого не имел, потому как поступление раненых не прекращалось. Сунулась Тамара к нему со шприцем с морфием, чтобы поунять грызущую боль, но Казиев крикнул:

– Назад! Нельзя мне морфий! Усну.

Ососков спросил его:

– Сменить вас, Марсал Ахметович?

– Кто меня сменит? – возразил Казиев. – Вы, комбат?

Ососков смутился:

– Я не хирург.

– То-то и оно, – сказал военврач. – Тепло мне давайте, на спину тепло. И тогда я еще постою...

Хотели грелками помочь, но грелки мешали движениям хирурга.

– Стол придвинем к «буржуйке», – сказала Марьяна.

Придвинули стол. Старший из медбратьев, санитар Садыков, пришел с охапкой дров. Загудела железная печка, повернулся к ней спиной Казиев, пронизало его тепло, и боль отпустила немного.

– Следующего! – приказал хирург.

На стол лег пулеметчик. Пуля попала в рот, разорвала язык и застряла у шейного позвонка.

А потом поступил в медсанбат капитан Чесноков. Доставили его бойцы потерявшим сознание и звавшим в бреду женщину по имени Таня. Разбитной красноармеец с обвязанным лбом, связной Чеснокова, рассказывал:

– В нас одним снарядом угодило... Меня, значит, по лбу, а капитана по низу живота. Знает, что с ним приключилось. И Таню зовет, жена это его, перед войною поженились, а его из отпуска отзывали. Теперь вот застрелиться хочет, едва оружие отняли. И то сказать – какая теперь житуха у мужика! Пусть бы там ногу али руку снесло... Калека, это верно, да жить можно. А так... Ежели по совести, то я б ему сам пистолет в руки сунул.

– Дурак, – сказал военврач Свиридов. – Пистолет бы дал... Вот ты его и приставь к глупой башке. Думаешь, твой капитан один такой на войне? Вот сестра его из шока выведет, а я ему все там хозяйство зачищу, и отправим в госпиталь. А уж в госпитале спецы. Соорудят ему любое естество, на чей хошь вкус. Понял, дундук?

– Понял, – недоверчиво проговорил боец. – Да только разве такое возможно?

– У нас все возможно, солдатик, – пробасил угрюмый пожилой санитар по фамилии Семенихин. – Вот был ты, скажем, полумертвый, а у нас сразу оживешь. Опять же, если полуживой, то мы тебя обратно можем сделать мертвым. Желаеть?

– Да ну тебя, – махнул связной комбата и ушел на перевязку.

Ближе к вечеру, уже начинало темнеть, Марьяна вышла наружу, поискала клочок незатопанного снега и принялась тереть им лицо. В голове прояснилось.

– Послушай, санитар, где бы перевязаться?

Марьяна поначалу не сообразила, что обращаются к ней, она забыла о солдатских брюках и про убранные под шапку волосы. Она повернулась и увидела высокого командира в белом полушубке и слегка сбитой на затылок ушанке. Командир улыбнулся, приложил руку к виску:

– Простите, доктор, обознался.

– Я не доктор. Старшина медицинской службы.

– Сестра милосердия, – уточнил командир. – Мне бы плечо посмотреть. Онемело окаянное. Ранили вчера.

– И вас никто не смотрел?

– Как никто? Мой связной перевязывал, он и смотрел... Да и у вас я случайно. Был в штабе дивизии, пленного доставил. Вот мимоходом и сюда заглянул: плечо немного беспокоит.

– Пойдемте, – сказала Марьяна. – Я вас сама посмотрю.

– Тогда, если позволите, представлюсь вам, сестрица, – несколько церемонно проговорил командир, поклонился, потом вытянулся перед Марьяной. – Лейтенант Кружилин, комроты. Можно называть меня и попросту – Олег.

Марьяна улыбнулась. Ей показалось, что она уже встречалась с этим человеком. И Олег нравился ей сейчас. Обращением вежливым, что ли? На внешность мужчин Марьяна давно не обращала внимания, по крайней мере, запретила себе делать это.

– А меня Марьяной зовут. Пойдемте, лейтенант Олег.

...Бесновался Чесноков. Братья Садыковы, санитары, едва удерживали его на койке. Капитан Чесноков хрипел. Розовая слюна, он искусал себе губы, пузырилась в углах рта. Капитан яростно ругался сорванным голосом и требовал пистолет. Марьяна сделала Садыковым знак рукой: отпустите Чеснокова. Тот сразу попытался вскочить, уцепившись руками за халаты санитаров. Марьяна быстро положила руку капитану на лоб. Чесноков оставил санитаров, обхватил руку сестры, зарылся в нее лицом и протяжно, по-волчьи, завыл. Марьяне стало жутко. Сделав над собой усилие, она протянула к голове капитана руку и принялась гладить по волосам.

– Ну что ты, что ты, миленький, – говорила она. – Перестань, пожалуйста. Так ты мне всех раненых перепугаешь. Ничего страшного не случилось... Перестань! Все обойдется. Не надо так убиваться. Потерпи... Ты ведь мужчина!

Тут она осеклась, произнесла привычные слова, которыми всегда утешала страдающих подопечных. А капитан хоть выл-выл, а слова ее услышал. Он смолк и оттолкнул руку Марьяны.

– Мужчина, говоришь? – процедил он сквозь стиснутые зубы. – Был им еще недавно... А впрочем... Ты права, сестра. Разнюнился, как жалкая баба. Все. Кончаю истерику. Иди к другим, сестрица. Капитан Чесноков хлопот вам больше не доставит.

– Вот и хорошо, милый, – облегченно вздохнула Марьяна и пошла из палаты вон, обрадованная и смущенная вернувшейся к капитану твердостью духа.

Ночью она спала рядом с закутком, который оборудовал для отдыха командир медсанбата. Разбудил Марьяну выстрел. Стреляли под самым ухом у нее. Она вскочила и босиком – спала, лишь стянув с себя сапоги, – выбежала наружу. Из закутка появился комбат Ососков. Был без ремня, вид заспанный и ошалелый, в руке болталась портупея с пустой кобурой. В маленькой каморке рядом с постелью комбата и опрокинутой сейчас табуреткой, на которую Ососков положил перед сном портупею с личным оружием, лежал ничком человек. Левая его рука была неестественно изогнута к виску и сжимала пистолет.

– Вот черт, – сказал Ососков. – Не было мне печали...

Комбат нагнулся, осторожно высвободил из пальцев человека пистолет, убрал оружие в кобуру, надел портупею, затянулся ремнем. После этого военврач Ососков взял мертвеца за плечо и перевернул лицом вверх. Это был капитан Чесноков.

13

«Защиты от подлинной внезапности не существует, – подумал Мерецков вне всякой связи с только что прочитанным текстом и машинально перевернул страницу. – А какая тут внезапность!.. Пленные, захваченные еще до Нового года, сообщали, что немцам известно и о создании нашего фронта, и о подготовке к наступлению. Этот козырь – внезапность – покрыли еще до того, как мы извлекли его из колоды...»

Генерал армии поднял книгу к глазам. Внимание привлекла фраза, которую он прочитал с живейшим интересом:

«Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

– Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг друга...»

Мерецков хмыкнул и захлопнул книгу. Это был четвертый том собрания сочинений Льва Толстого, выпущенного Сытиным в 1913 году в приложении к журналу «Нива». Раздобыл его Кирилл Афанасьевич в Москве после памятного разговора со Сталиным, когда Мерецкову сообщили о создании Волховского фронта.

Сталин тогда спросил у Мерецкова:

– Вы читали «Войну и мир» Толстого, товарищ Мерецков? Советую перечитать. Лев Толстой правильно ставит в романе вопрос о значении народа в освободительных войнах. Именно народ выигрывает такую войну. Мы с вами лишь выполняем его волю. Поэтому наша ответственность за порученное дело неизмеримо повышается, товарищ Мерецков... «Война и мир» – полезная книга.

Если Сталин советует – надо читать. Он может в любой момент спросить, до какой страны добрался. Гм... Про немцев старый князь Волконский так лихо высказался на девяносто девятой. Только ленивый, значит, их не бивал... Да... Времена переменились. Не поленились бы мы разобраться в сути гитлеровского феномена перед войной – глядишь, и не сидел бы теперь генерал Мерецков в Малой Вишере.

Кирилл Афанасьевич убрал книгу, подошел к столу, застланному картой, сел и разгладил карту рукой. Вот она, линия его фронта. Похвастать пока нечем. Двое суток бьют волховские армии в оборону противника. И все тщетно. Успели, сволочи, укрепиться. Инженерные войска у них действуют по всем правилам и техникой снабжены отлично. А у наших саперов лопата и топор, и гоняют их зачастую командиры затыкать дыры, хотя существует особый приказ, он запрещает использовать специальные части не по назначению.

«И соседи, – подумал Кирилл Афанасьевич. – Бывает, что успех операции зависит от них больше, чем от тебя самого. На левом фланге генерал-лейтенант Морозов наступает на Старую Руссу. Если его армия возьмет город, это напугает противника. Ведь тогда возникает угроза окружения его новгородской группировки. Надо связаться с Павлом Алексеевичем Курочкиным. Он – толковый мужик, широко мыслящий командующий фронтом. С ним можно договориться о координации совместных ударов. Ведь Северо-Западному фронту выпала не менее трудная задача. И немцев разбить под Старой Руссой, и ударом правого фланга выйти к Сольцам и Дну, отрезать дивизиям генерала Буша пути отхода от Новгорода и Луги. А что сейчас подельывает сосед справа?»

Мерецков вздохнул. Никак не мог успокоиться и осознать факт автономности Пятдесят четвертой армии. Вспомнилось памятное совещание в Ставке, которое проходило месяц с небольшим назад. В Москву Мерецков прибыл с командующими новыми армиями, Пятдесят девятой и Второй Ударной, Галаниным и Соколовым. Из Ленинграда приехали Жданов и Хозин. Андрея Александровича, секретаря ЦК и Ленобкома, Мерецков знал давно. Они ведь вместе работали в Питере. А вот возникшая необходимость координировать действия с генерал-лейтенантом Хозиным, который сменил Федюнинского после недолгого пребывания того на посту командующего Ленфронтом, была не по душе Мерецкову. Он был знаком с Михаилом Семеновичем еще до войны, когда тот начальствовал в Академии имени Фрунзе. Хозин был сложным человеком, трудным в общении, болезненно самолюбивым, мнительным. Слишком долго он оставался в тени, а это способствовало возникновению комплекса неполноценности, развивало у него стойкое убеждение в том, что его несправедливо обошли. Когда Жуков в сентябре прошлого года привез его и Федюнинского в Ленинград, Хозин стал начальником штаба фронта. Потом командовал Пятдесят четвертой армией вместо разжалованного незадачливого маршала Кулика. Побыв недолго в роли командующего фронтом, генерал-майор Федюнинский в самом начале наступления немцев на Будогощь и Тихвин забил тревогу и за спиной у Жданова попросил у Ставки разрешения поменяться с Хозиным постами. Так Михаил Семенович стал командовать фронтом. На совещании в Ставке 12 декабря держался с достоинством и по отношению к Мерецкову несколько высокомерно. Хозин давал понять, что именно

он возглавляет основные силы на северо-западном направлении, а Волховский фронт и его, Кирилла Афанасьевича, армии лишь придаются ленинградцам.

Когда после доклада Шапошникова Мерецков поставил вопрос о передаче Волховскому фронту Пятьдесят четвертой армии, Хозин яростно запротестовал. Напрасно Кирилл Афанасьевич доказывал, что отрыв этой армии от его фронта усложнит боевое взаимодействие войск, призванных решать одну и ту же задачу.

– Ну и что из того, что Федюнинский находится за внешним кольцом блокады? – горячился Михаил Семенович. – Его армия будет наносить удары с вражеского тыла. Этим она окажет Ленинграду максимальную поддержку. Федюнинцы будут рваться к родному городу.

При этом он постоянно поворачивался к Жданову, как бы призывая поддержать его, и тот кивал в знак согласия.

– Что-то до сих пор Ленинград не видел особой помощи от этой армии, – проворчал Мерецков.

Ему вдруг стало нестерпимо обидно оттого, что приходится доказывать очевидные вещи опытным как будто бы в военном отношении людям. Кольнуло и пришедшее осознание: вряд ли кто разделяет его предчувствие, что совместная работа пойдет у них с Хозиным вкривь и вкось.

– На этом закончим, – сказал Сталин. – Если товарищи ленинградцы считают, что такое положение для них подходит, оставим все неизменным. Все мы знаем товарища Мерецкова как талантливого полководца и хитрого хозяина, который всегда себе на уме, который старается собрать на своем дворе как можно больше добра. Но если товарищ Мерецков одной армией освободил Тихвин, то четырьмя армиями он непременно разобьет Кюхлера и снимет блокаду Ленинграда.

...Мерецков снова раскрыл «Войну и мир» Толстого. С минуты на минуту он ждал вызова из Москвы, а сообщить туда что-либо существенное пока не мог. Немцы крепко держались за плацдармы возле Киришей и Грузина на правом берегу Волхова. Четвертую армию они даже контратакуют. Пятьдесят девятая армия Галанина топчется на месте. Противник сосредоточивает силы в районе Спасской Полисти, опасаясь, что мы, завладев этим поселком на шоссе на Новгород – Ленинград, двинемся вдоль железнодорожной магистрали, параллельно Волхову, прямо на чудовскую группировку. А именно так нам и надлежит поступить...

«Пока я могу рассчитывать на успех только там, где решительно действует Вторая Ударная армия Клыкова и армия Яковлева, – подумал командующий фронтом. – В направлении на Новгород наши атаки, увы, безуспешны. Но дивизия полковника Антюфеева уже заняла Красный Поселок. Это хорошо. Сегодня утром командармы Клыков и Яковлев ввели в бой резервы. Активность наступающих войск усилилась, но и противник наращивает сопротивление. И о чем, о каких успехах докладывать мне сейчас в Ставку?»

Мерецков вспомнил, как звонил недавно, после разговора со Сталиным, генерал-лейтенанту Клыкову.

– Николай Кузьмич, смелее вводите резервы.

– У меня осталась стрелковая бригада.

– Вводите и ее! Вводите все, что у вас есть. Надо изо всех сил давить немца на том участке, где у вас обозначилась возможность прорыва обороны противника.

Кирилл Афанасьевич вспомнил, что почти слово в слово повторил фразу, которую слышал от Верховного.

– Положение чрезвычайно сложное, – проговорил командарм. – В таком положении остаться без резервов...

Мерецков хорошо понимал Клыкова. Он знал, что отсутствие резервов всегда вызывает у военачальника неуверенность. Но Кирилл Афанасьевич хорошо помнил и содержание ста-

линского письма, которое привез ему в Малую Вишеру начальник артиллерии Воронов. «Единым и общим ударом, – горько усмехнулся генерал армии. – Это хорошо выглядит на бумаге. А на деле наскоки, не обеспеченные в достаточной мере поддержкой авиации и артиллерии, малоэффективны. Но чем я подкреплю усилия пехоты?»

Командующий встал из-за стола и хотел идти в аппаратную, но в комнату влетел возбужденный Мехлис.

– Плохо воюем, генерал, – сказал он Мерецкову. – Товарищ Сталин обеспокоен. Я ему докладывал, что...

– Я тоже, – перебил его Кирилл Афанасьевич.

– Что «тоже»? – не понял Мехлис.

– Тоже докладывал сложившуюся обстановку.

Лев Захарович хмыкнул и недовольно повел носом.

– Пора уже сообщать Ставке о наших успехах, товарищ Мерецков. А их не видно. Необходимо срочно выехать в войска и накрутить командармам хвосты. Разучились бить фашистов. Кстати, как дела в Пятьдесят второй?

Мерецков протянул сообщение генерал-лейтенанта Яковлева.

«К 13.00, – сообщал командарм-52, – правое крыло армии в составе трех дивизий вышло на западный берег реки Волхов. Частями 46 и 305 сд овладели районами Заполья, Лелявино и лесом севернее. Армия отбивает контратаки на Теремец».

– Это уже не хрен собачий, – сказал Лев Захарович. – Это уже нечто. Надо включить населенные пункты в доклад Ставке.

– Все сделано, – отозвался Мерецков. – И вот еще. Я передал Клыкову, Второй ударной, две стрелковые дивизии из армии Галанина.

– Не жирно ли будет? – возразил Мехлис. – А с кем пойдет на Ленинград Галанин?

– Он стоит пока на месте. А Клыков пробивается вперед.

– Что скажут в Ставке? – заопасался Мехлис.

Командующий фронтом поморщился: «До чего же надоела мелочная опека! На помочах водят, как сопливого мальчишку».

– Звонил Василевскому, возражений нет. Но пойдемте... Время докладывать в Москву.

Они пришли в аппаратную в тот момент, когда на ленте аппарата Бодо возникли слова: «Ставка вызывает Мерецкова».

– У аппарата Мерецков, – сказал Кирилл Афанасьевич.

– И Мехлис, – подал голос Лев Захарович.

– И Мехлис, – будто эхо, повторил командующий фронтом.

– Верховный главнокомандующий требует объяснений по поводу вашего бездействия, – передал Василевский.

Кирилл Афанасьевич посмотрел на Мехлиса и развел руками. Представитель Ставки решительно шагнул к аппарату:

– Передавайте. Говорит Мехлис. Мы не бездействуем, мы воюем, товарищ Василевский. Противник превосходит армии фронта в авиации, технических средствах, артиллерии. У нас мало снарядов, у немцев их хоть завались. Кроме того...

Договорить ему не дали. Аппарат Бодо стал работать на прием. Задвигалась лента, на ней проступали слова: «Меньше разговоров, товарищ Мехлис. Не для того мы послали тебя туда. И кто у вас командующий фронтом? Мехлис или Мерецков? Какие новости, Кирилл Афанасьевич? Сталин».

Мехлис съезился и отошел от аппарата. Мерецков занял его место, заговорил:

– Новости у нас, товарищ Сталин, такие...

Вошел в аппаратную капитан Борода и протянул генералу армии записку. Мерецков быстро прочитал ее и живо наклонился к аппарату, словно собираясь увидеть через него Москву.

– Хорошие у нас новости, товарищ Сталин! – почти что выкрикнул Кирилл Афанасьевич и замолчал. Сдерживаясь, стал ждать, когда его слова передадут в Ставку. Понемногу успокаиваясь и не глядя на подскочившего к нему Мехлиса, который пытался прочитать записку, ее командующий держал перед глазами, стал диктовать телеграфистке:

– Войска Второй Ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Клыкова прорвали оборону противника в районе поселка Мясной Бор! Участок прорыва расширяется...

«Хорошо, – ответно отстучал аппарат. – Когда Вторая Ударная армия закрепит этот успех, бросайте в наступление кавалеристов Гусева, Тринадцатый корпус. Я очень надеюсь на вас, товарищ Мерецков. Сталин».

14

Все трое прибыли на фронт в сочельник.

По дороге нервничали – боялись не успеть в часть до Рождества, тогда придется праздновать его в пути. Особенно переживал католик Вилли Земпер. Рождество Христово он считал главным праздником верующего человека, отдавал ему предпочтение даже перед Пасхой. И Земпер только отмахивался, когда Рудольф Пикерт, изучавший теологию в Йенском университете, утешал его, говоря, что крестьянской душе Вилли должна больше нравиться Пасха.

– Твой праздник – Пасха, дорогой Вилли, – разглагольствовал Пикерт в вагоне поезда, идущего в Плескау. – Тебе известно, как возникла идея воскресения Господня, которое отмечается именно весной?

– Как-как, – буркнул Земпер, – очень просто. Христос воскрес и был взят на небо – вот и праздник.

– Но ведь у евреев тоже есть Пасха, – возразил Руди, подмигивая молчуну Гансу Дребберу, не любившему участвовать в подобных разговорах друзей.

Дреббер считал эти споры пустой болтовней, недостойной настоящих немцев.

– Да какая там у них Пасха, – отмахнулся Земпер.

– Не пора ли нам перекусить? – предложил Ганс. – От вашей трепотни у меня аппетит разыгрался.

– Чудесная мысль, Дреббер! – воскликнул Руди Пикерт. – Ты не только лучший пулеметчик, но и самый деловой человек среди нас. Загляни-ка и в мой ранец. Там еще осталась бутылка старого доброго кюммеля.

– Так что ты там твердил про еврейскую Пасху? – спросил Вилли, едва выговаривая набитым ртом слова.

– Она возникла именно как земледельческий праздник, дорогой крестьянин. Твой, Вилли, праздник. Наши предки, заметив, как возрождается жизнь весной, как прорастает брошенное в землю зерно и деревья вновь покрываются листьями, решили, что их боги так же умирают и воскресают. Эта идея крепко сидела в головах и финикийцев, и греков, и древних египтян, я не говорю уже про иудеев. Скажем, на берегах Нила так же верили в смерть и возрождение Озириса, как мы верим в воскрешение Христа.

– Ни хрена вы ни во что не верите, ни в бога, ни в черта, – проговорил Земпер, отрезая кусок колбасы.

– Я воевал под началом Роммеля у Тобрука, – сказал вдруг Ганс Дреббер, потянувшись к бутылке, взял ее в руку, взболтнул. – Какой человек этот Роммель! Настоящей тевтонской закваски. Если б весной сорок первого года ему как следует помогли, то сейчас мы с вами несли б гарнизонную службу в Каире.

– А знаешь, Ганс, Рождество в Каире это не так уж и плохо, – проговорил Пикерт. – Хотя... Нет, там слишком жарко. И потом, где найдешь к празднику елку? А вот Пасху египтяне раньше отмечали шикарно. И говорили друг другу: «Озирис воскрес!»

– Сказано в Писании: «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша», – торжественно произнес Земпер и победно глянул на Пикерта.

– Слушай, Вилли, зачем тебе ползать по переднему краю, охотясь за неосторожными иванами? – спросил Руди. – Ты мог бы пристроиться служкой к армейскому священнику.

– У нас в дивизии они все евангелисты, а я католик. Да и грамоты моей недостаточно. Ты, Руди, скорее бы подошел.

– Гм, может быть... Кстати, ты помнишь, Вилли, кто был дедушка у Христа? Как его звали?

Ганс Дреббер бросил на столик нож:

– Возвращаются из отпуска, а разговоры у них, как у кастрированных монахов! Солдатам фюрера и вовсе не к лицу уделять так много времени этому иудею. От его имени у меня свербит.

– Эге, – сказал Руди Пикерт, – тут ты ошибаешься, дорогой Дреббер. Христос не был иудеем.

– Как же это так? – недоверчиво глянул на него Ганс. – Самый что ни есть иудей. По крайней мере, рожден был от еврейки.

– Вот тут ты и промахнулся. Где родился Христос? В Галилее. И мать его оттуда родом. Значит, кто Христос? Галилеянин. Да, проповедовал он и в Иудее, но к жителям ее по происхождению отношения не имел.

– Интересно, – сказал Вилли Земпер и вдруг протянул Пикерту руку: – Спасибо тебе, товарищ. Снял ты с меня сомнение. Знаю, что всех иудеев надо брать к ногтю. И тут меня уговаривать не нужно. А вот нет-нет да и вспомню о Христе. Теперь другое дело! Значит, не иудей?

– Галилеянин, – ответил Пикерт.

– Про этих фюрер ничего не говорил, может быть, они даже истинные арийцы.

15

Эти бедолаги умирали дважды. Нет, умерли они только один раз, но смерть для них пришла и по второму кругу.

К исходу первого дня боев белый снег на льду реки Волхов почернел от трупов. Вновь и вновь поднимались красноармейские цепи, поднимались, чтобы броском достичь левого берега, и падали, сбитые, придавленные, сраженные ошалелым огнем укрепившегося в совхозе «Красный ударник» противника.

А день был солнечным и будто бы безмятежным. На добром морозце под лучами солнца искрилась изморозь на ветках и в мелких кристалликах снежной пыли возникали крошечные радуги. Еще недавно бойко чирикали в утопанных колеях воробы, стремясь добыть непроваренные зернышки из конского навоза. В лесной чащобе, окружавшей совхозные пашни и сенокосы, мерно стучали трудолюбивые добытчики – дятлы. Теперь вся живность спряталась, будто отродясь здесь ее не бывало. Сейчас люди стремились сделать друг друга мертвыми. Они дрались не понарошку, а всерьез...

Наконец, люди с правого берега достигли другой стороны и, убивая окопавшихся, сумели там закрепиться. Вскоре прилетели самолеты. Они построились в завывающее кольцо и один за другим заходили на бомбометание по оставленным немецкими солдатами позициям. Порой из брюха «Юнкерсов» валились superbомбы. Огромные фугасы сотрясали землю и вырывали в ней невиданных размеров воронки.

Потом и это кончилось. Раненых подобрали санитары и отправили в медсанбаты. Те, кому помощь была не нужна, ждали своей очереди. Живое тепло в них исчезло, тела задеревели, мороз их сохранил такими, какими были они в последнее мгновение.

Собирать их стали на третьи сутки. Наспех сколотили похоронную команду, в нее вошли обозники и сорокоты, солдаты старших возрастов из хозяйственного взвода. Не торопясь и не мешкая, запрягли они лошадей в розвальни и принялись свозить с волховского льда и отвоёванного берега трупы. Собирали сначала своих... Поскольку враг на данный момент побежденный, он может и подождать. На площади совхозного поселка фугас разметал землю, образовав воронку шагов в пятнадцать шириной. Могильщики зачистили ее, поправили края, и получился неуклюжий ров, ему назначено быть братскою могилой.

Туда их, покойников, и свозили. Одного подняли еще на нашем берегу: не сумел добраться до реки. Хватила пуля в грудь, он задохнулся, постоял мгновение, повернулся спиной к тому месту, которого хотел достичь, и повалился навзничь. Так и лежал, удивленно глядя в прозрачное, без единого облачка небо. А чуть подале обнялись солдат и помкомвзвода. Увидел сержант, как упал землячок из Тамбова, подполз под огнем, обхватил за плечи: что, мол, случилось, браток... Тут его и ударило в темя. Вдвоем их положили на сани и в могиле устроили рядом.

На середине Волхова трупов было больше. Лежали они разное, кто и сидел, с ними хлопотнее – не разгибались... У берега, где оборонялись немцы, убитых мало, а вот в траншеях навалило. Красноармеец штык в противника успел воткнуть, но очередь из автомата ему досталась. Винтовку боец не выпустил из рук, и сейчас она соединила обоих мертвецов, заставляя солдат-похоронщиков материться: разделить врагов и после смерти было трудно...

Они свозили трупы целый день, рядами клали в общую могилу. Когда готов был первый ряд, приехал с того берега начальник и долго мотал душу командиру хозвзвода, лейтенанту-очкарику из запасных.

– Народное добро, – кричал на похоронщиков начальник в белом полушубке, – добро не бережете! Куда вы их таскаете, одетых? Инструкцию забыли? А как потом мне за все отчитаться? Шинели, полушубки, сапоги... Вы б их еще с оружием в руках свалили. Немедленно все снять! Нательное белье оставить! И строго все учесть. Потом я с вас спрошу, бездельники и разгильдяи!

Стали раздевать убитых. Мат, как воздух вокруг от мороза, загустел, стал позлобнее и кощунственней. Не так просто раздеть закоченелый труп... А что делать? Надо. Так положено по инструкции. И то сказать, не такие мы и богачи, чтоб гимнастерки и ботинки несношенные, шапки и добрые еще ремни гнили вместе с теми, кому не повезло. Во что других оденешь, когда придут новобранцы из бескрайней и неисчерпаемой России? Народу в ней не счесть, а вот с обмундировкой для красноармейцев плохо. Потому и существовало положение в те месяцы войны: хоронить павших ратников в одном исподнем...

У раздетых трупов вид оказался и вовсе жалкий. Только некому было это заметить. Солдаты-нестроевики озверели от неблагодарной работы, они мечтали покончить скорей с мертвяками, укрыть их от людского глаза, а ведь еще немцев заставят убирать, растуды их налево и во все стороны.

Но всякая работа приходит к концу. Закончилась и эта. Уже темнело, когда на площади вырос объемистый холмик, под ним укрылось двести восемьдесят человек, собравшихся сюда со всех концов страны.

Начинало темнеть, и сумерки сгустились вовсе, когда загудело фиолетовое небо и с него вновь посыпались бомбы. Немцы посчитали, что русские войска принялись подтягивать тылы, возможно, и командные пункты перенесли в «Ударник», авось и приласкаем кого из их начальства подарочным фугасом. В налет никто не пострадал. Кроме мертвых. Полутонная бомба попала в могилу на площади поселка. Взрыв разметал останки убитых. На деревьях неболь-

шого сквера застряли оторванные конечности, повсюду валялись куски туловищ, изуродованные головы, разные части человеческих тел, облепленные обрывками серого солдатского белья.

И снова в бессильной злобе матерились назначенные в похоронную команду пожилые солдаты, а их пятидесятилетний лейтенант, который втайне верил в бога, беззвучно плакал, глядя на свершившееся святотатство, и изумлялся в душе бессердечию Всевышнего, который терпел такое кощунство.

Основное они собрали до наступления ночи. Остатки подбирали на рассвете. Братская могила дважды убитых выросла на прежнем месте. В третий раз их убивать не стали.

16

Анатолий Дружинин служил в гвардейском артдивизионе. Высокое звание гвардейского дивизион получил за Тихвин, после того как вместе с другими частями Четвертой армии отбил его у немцев. Ровно месяц назад, восьмого ноября, когда пал этот город, последняя станция на железной дороге, идущей к Ладожскому озеру, Гитлер торжественно заявил: теперь Ленинград поднимет руки...

Но случилось иначе. Генерал Мерецков, только что остановивший финнов на Свири, прибыл из 7-й Отдельной армии, навел под Тихвином порядок, остановил отступление Четвертой армии и так организовал контрнаступление, что немцы сами убрались из города, а потом и на левый берег Волхов-реки.

Десятого января обрел дивизион новое имя, стал называться Девятым отдельным гвардейским противотанковым, и придали его 4-й гвардейской дивизии. До конца месяца дрались новоиспеченные гвардейцы вместе с пехотой и танками за Грузинский плацдарм. Грузино – бывшее имение графа Аракчеева, того самого, что был «без лести предан» государю императору, находилось на правом берегу Волхова. Но в Грузино сидели немцы. И как сидели! По Грузино была наша тяжелая артиллерия, самолеты сбрасывали крупные бомбы и бочки с горючей жидкостью – надо было во что бы то ни стало сбить противника с укрепленного пятачка, отогнать за Волхов. Но едва танки и пехота переходили в наступление, из старых подземных казематов гитлеровцы открывали бешеный огонь. Трудным орешком оказался этот плацдарм...

Дивизион поелику возможно подолбал немцев у Грузино. А когда Ударная армия Клыкова прорвала вторую линию обороны у Мясного Бора и вырвалась на оперативный простор, гвардейцев-истребителей перебросили туда. Артиллеристы одолели Волхов у поселка Селище. Они оказались на левом берегу, где только что закончились бои. Вокруг все было серым. Земля, перемешанная со снегом, едкий дым над пепелищами, безучастные лица трупов, низкое, уставшее смотреть на скорбные результаты человеческого безумия небо...

Первые бойцы натолкнулись на труп женщины. Она лежала у куста ивы, прижав к груди трехлетнюю девочку. Голова девочки была приподнята, будто силилась она заглянуть матери в глаза. На ресницах застыли слезы. Белокурые волосы шевелил ветер. Ветер становился сильнее, развел поземку, и поземка намела у трупов небольшой сугробик. Поодаль находились старик со старухой. Старик сжимал в руках плотницкий топор с широким лезвием, а старуха подняла руку со сложенными в троеперстие пальцами – оборонялась крестным знамением...

– Кто их? – прошептал наводчик Илья Киреев. – За что?

Ему не ответили. Трясущейся рукой полез Киреев в карман за кисетом. Позади закричали:

– Почему остановились? Продолжать движение!

Илья подбежал к тягачу, тот уже двинулся прочь. Кирееву подал руку заряжающий Назин, и он забрался на сиденье, мрачно глядя перед собой.

Объявили привал. Стали искать, где приткнуться. Уцелевшие избы заняли раненые. Деваться артиллеристам было некуда. Отправились в ближний лес, расположились на опушке

под открытым небом. И не только они, но и пехота маялась без пристанища на снегу. Страшно хотелось есть, горячего бы... Но кухонь в Новой Керести не было, остались они за Мясным Бором.

Старшина батареи раздал хлеб, консервы, концентрат «суп-пюре гороховый».

– Сейчас костерок соорудим, – весело сказал командир расчета Анатолий Дружинин, – баланду сварганим...

– А под трибунал не хочешь? – спросил его старшина Сорокин. – Никакого огня! Особист предупредил: «Кто костер разведет, тот, считается, немцам сигналит... И значит, приговор окончательный и обжалованию не подлежит, привести в исполнение на месте...» Соображаешь, сержант?

– Вполне, – ответил Дружинин. – А что нам с этими кирпичами делать? – Он подбросил в руке заледеневшую буханку хлеба.

– Солдатскую смекалку запряги, – бросил ему старшина и ушел в другую батарею.

– Топором его, Толя, – сказал Назин. – Кузя, давай ментом к тягачу! Волоки топор...

– Я что, лысый? – проворчал подносчик снарядов, небольшого роста солдатик по фамилии Кузин. – Чуть что – сразу Кузя, Кузя...

– Давай-давай, – оборвал его Назин. – Старших надо слушаться, парнишка.

Он призывался еще на два года до войны и справедливо считал себя старшим по отношению к Кузину, призванному весной сорок первого. Кузя принес топор. Командир орудия положил буханку на пенек, рубанул разок и заматерился. В основном досталось старшине, его печенке и ближайшим родственникам. Топору замороженный хлеб не поддавался, крошился на мелкие кусочки.

– погоди, – остановил его Назин, – не суетись, сержант. Тут я рядом саперов видел...

От саперов заряжающий появился с двуручной пилой.

– Клади буханку, – сказал Дружинину. – А вы держите!

Двое держали, двое пилили буханку, как бревно. Получилось.

Кое-как поели. Уже стемнело. Надо было придумывать ночлег. Мороз все давил и давил, к полуночи стало совсем не вмоготу.

Киреев сплюнул, и все услышали, как, упав на землю, тоненько звякнула льдинка затвердевшей на лету слюны.

– Ни хрена себе уха, – сказал наводчик. – Тут мы все к утру замерзнем. Ну и война! Разве так можно? Огонь не разводи, в избах места нету... В такой мороз добрый хозяин собаку на двор не выгонит, а мы, люди, хуже собак сейчас.

Назин достал флягу и потрянул ею.

– Может быть, согреемся, командир? – предложил Дружинину неуверенным тоном. – Спиртик тут у меня, чистяга...

– Спрячь, – коротко бросил Анатолий. – Он врет, твой спиртик. После него-то скорей замерзнешь.

– Лично я не возражал бы глотку промочить, – придвинулся к Назину Киреев. – А то ведь околеваю...

– Разговорчики, Киреев! – оборвал наводчика Дружинин. – Солдат, гвардеец... Разнюнился, как баба. Двигайся побольше!

Он встал с поваленного дерева, на котором сидел, и затрусил вокруг тягача с орудием. За ним двинулись Назин, подносчик снарядов Кузин, водитель Володарский. А Киреев походил-походил по тропе, потом уселся на станину орудия, привалился спиной к казеннику и затих.

А мороз все жал. Они промерзли до костей, чертовски устали, ноги пронизывала ноющая и саднящая боль. Хруст снега под обледевшими валенками казался вызывающим, был раздражительным, царапающим душу. То один, то другой на ходу засыпал, спотыкался и падал

с тропы в снег. Неожданное падение прогоняло сон. Упавший, матерясь на чем свет стоит, поднимался, остальные, прекратив движение, ждали его, и вновь согнутые усталостью фигуры начинали кружить у тягача с «сорокапяткой».

– А что Киреев? – спросил вдруг командир орудия и остановился. – Красноармеец Кузин, проверьте.

Маленький Кузин подбежал к прикорнувшему наводчику, принялся трясти его за плечо.

– Отвали от меня! – заорал Киреев. – Дай поспать... Тебе говорю...

– Живой, – облегченно вздохнул Дружинин. – Но вот мы, бегаючи, выживем вряд ли...

Назин! Ломай голову – надо придумать чего ни то, однако.

– Шалаш разве соорудить? – сказал Назин. – Да что в нем толку. Костер нужен! Живой огонь...

– Исключается! – резко ответил командир орудия. – Думай!

Назин крикнул, повертел большой головой, боец носил ушанку последнего размера, хлопнул руками о полы шинели, исчез в темноте.

Вернулся он быстро.

– Сержант, – сказал Дружинину, – надо тягач немного продвинуть, шагов на сто. Пойдем со мной, сам глянешь.

Заряжающий нашел окоп, отрытый в полный рост и очищенный от снега. Когда тягач осторожно наехал на него, накрыв грузным телом, артиллеристы завалили гусеницы снегом. Просвет между передком тягача и землей закрыли сосновыми лапами, а с кормы завесили проход плащ-палаткой. На дно окопа настлали еловых веток, поверх положили брезент. Назин наполнил соляжкой три пустые банки из-под консервов, отчекрыжил по длинному куску от старого ватника и приладил их навроде фитилей. Когда все набились в эту своеобразную землянку, заряжающий запалил фитили. Горели они жарко, но жирно. Безбожно коптили, потрескивали, только от них исходило тепло, его так не хватало гвардейцам.

Они даже подремать сумели до рассвета.

Наутро, когда дивизион готовился сняться и от Новой Керести идти на отведенные ему позиции под Ольховкой, они узнали, что в эту ночь в соседней батарее замерзли насмерть три артиллериста, что приняли «наркомовскую норму».

17

На курсы младших лейтенантов Чекин не попал. Когда рота ленинградских сержантов, так и не доехавших до Барнаула, прибыла в Малую Вишеру, им вписали в красноармейские книжки слово «курсант» и объявили, что для них училищем станет поле боя.

«Проявите мужество – дадим вам всем в петлицы лейтенантские кубари...» Вот так-то все и получилось.

А на Волхове уже вовсю дрались. Потери были большими – немцы укрепляли здесь оборону с августа сорок первого года. Выкуривать их было трудно. Снарядов у наступающих частей Волховского фронта в обрез. Полагались чаще на «ура», на штык и гранату, опять же, на безотказную «капитана Мосина, образца 1891 дробь тридцатого года». Но ей, этой славной винтовочке, не сладить вовсе с автоматом гансов.

В частях не хватало младших командиров. И курсантскую роту подняли ночью по тревоге, выдали лыжи, сухой паек и при полной боевой выкладке отправили к переднему краю.

Шли в крошечной тьме; вдоль зимника, проложенного от Малой Вишеры к деревне Папоротно, где еще недавно стоял штаб Второй Ударной армии. По зимнику двигались грузовики с погашенными фарами. Иногда лыжники обгоняли плетущихся шагом обозников – те везли в санях продовольствие и фураж.

В Папоротно был привал. Отдохнули часок – и снова на лыжи. К утру пришли в деревню Костылево, это уже на левом, отбитом у немцев берегу Волхова. Так они незаметно и втянулись в горловину прорыва, оставив Мясной Бор, захваченный недавно 366-й дивизией полковника Буланова, по левую руку. Курсантов разбросали по ротам и взводам прорвавшихся частей Второй Ударной, и с того дня все слилось для Степана Чекина в монотонную кровавую круговерть, когда он стрелял в немцев, бросал в них гранаты, подбадривал бойцов, старался не попасть под выстрел снайпера – «кукушки».

Его назначили командиром первого отделения и поручили прочесать лес. Левее тем же самым занимался соседний взвод. Вскоре они соединились с красноармейцами этого взвода, заняли опушку леса и перекресток двух просек. Здесь и закрепились. Немцы расположились неподалеку. Через поляну, за которой они сидели, Чекин различал, как гансы переговаривались между собой. Шагов сто пятьдесят или двести было до них, всего-то. А воздух морозный, тихо, далеко слышно...

У Степана одиннадцать бойцов оказалось в подчинении, среди них были и казахи. Кто эти люди, откуда, парень не знал, не было времени познакомиться поближе. Кого помнил по фамилии, кого по имени звал, кое-как обходился. Прикинул – позицию заняли, надо укрепляться. За ночь оборудовали окопы в снегу, замаскировались так, чтоб сверху их не приметили, знали уже, как пиратствуют немцы в небе, проделали в снегу ходы сообщения. Одна беда – не могли развести костер. За костер – смерть двойная: и от противника, и от своих тоже. Но сухари были, опять же, по дороге сюда нашли убитую лошадь, и наголодавшийся под Ленинградом Чекин приказал вырубить саперными лопатами по доброму куску конины каждому бойцу в «сидор». Жевали мерзлое сырое мясо, под сухарь оно шло вполне сносно, а казахи, так те и вовсе были довольны.

Так и держали оборону. Спали по очереди, часовых Чекин лично проверял, поэтому дремал урывками, чутко, вроде и не спал, все прислушивался во сне к тому, что происходило вокруг.

Понемногу обмораживались. Пальцы на руках распухли, кожа слезала с них, как кожура с вареной картошки. О картошке Степан мечтал. Так хотелось ему взять в руки дымящуюся, горячую картофелину и не торопясь чистить ее, катая в ладонях и дуя, чтоб хоть чуточку остыла. Но картошки не было. Были сухари и конина. И так дней десять, а может, и больше... Степан считал дни, потом сбился.

Приходил командир в полушубке, с ним красноармеец с автоматом. Командир сказал, что он комиссар батальона, в который они входят. Назвал свою фамилию, потом имя комбата, но Чекин вскоре забыл и то, и другое. Комиссар подивился их маскировке, похвалил окопы и ходы сообщения и сказал, что если немцы полезут на них, то держаться надо до конца. Степан пожал плечами и ответил: «А как же иначе?» Комиссар внимательно всмотрелся в осунувшееся лицо маленького сержанта и спросил, сколько ему лет. Чекин покраснел, ему в ноябре исполнилось восемнадцать, а рядом были бойцы, слушали. Степан нахмурился и пробормотал, что, дескать, уже двадцать ему, с гаком.

Комиссар улыбнулся, взял сержанта за плечо, дружески встряхнул. «Представляю всех к награде», – сказал он. С тем и ушел. Больше его Чекин никогда не видел. Награды Степан так и не получил, но, вспоминая порой об этом посещении, на комиссара не обижался. Кто знает – может быть, и не дошел он тогда до командного пункта.

А немцы на их позицию почему-то не лезли. Левее все время шел бой, не смолкал грохот артиллерии, рвались мины, да и ихние самолеты кружились в той стороне. А тут тихо. Чекин уже нервничать стал, и красноармейцы, это он видел, потихонечку психовали от ожидания. Но вскоре им подвезло. Накануне снова разгорелся бой на левом фланге, в лесу, а с восходом скупого зимнего солнца Степан вдруг углядел, как на поляну вытянулось десятка два немцев, а следом повозка с лошадью. «Братцы, – сказал Чекин, – такой случай упускать нельзя. Дадим

немцам жару и сами погреемся...» И как только оказались гансы напротив чекинских красноармейцев, ребята дружно врезали из винтовок, а пулеметчик Миша, фамилии его Степан не помнил, умело стал строчить из «дегтяря».

Поднялся истошный крик. Застигнутые врасплох, солдаты заметались. Лошадь в повозке убили сразу, и Степан подумал, что это кстати: запасы мерзлой конины уже истощились. Человек десять они уложили в снег навсегда. Остальные подхватили раненых и скрылись в лесу. Вечером бойцы пошли за трофеями. Автоматы подобрали, гранаты на деревянных ручках, удобные такие для приведения в действие, и бросать их ловко, с нашими работать не так сподручно, а главное – галет набрали, и шли они после сухарей вроде как за лакомство ребятам.

На второй день Степана с отделением сменили другие бойцы, и перебросили их в 372-ю дивизию – оборонять и расширять проход, по которому шло снабжение для Второй Ударной. А в какой они были раньше части – Чекин так никогда и не узнал. Теперь они заняли оборону у деревни Теремец Курляндский. Самой деревни не существовало, от нее остался один дом. У этого дома, на огородах, и оборудовал окопы Степан Чекин. У Теремца Курляндского жилось им получше. Порой горячую пищу доставляли в термосах и по сто граммов мальчишкам давали. Водку никто прежде не пробовал, да и сейчас морщились, не научились пока.

Вместо сухарей появился хлеб. Правда, он промерзал насквозь, но ребята приспособились делить его пилой на пайки, а мерзлые куски прятали на груди, где хлеб отходил до положенного ему состояния.

Неплохое затеялось житье, только длилось оно недолго. Ночью подняли по тревоге и вывели всех на другую сторону Теремца. Там сосредоточились красноармейцы из других рот; принял Степана под опеку и новый командир взвода, младший лейтенант, фамилию его Чекин тоже не запомнил, но что хорошим он был командиром – это в памяти сохранилось... Тут объяснили их взводному задачу. Пройдете, значит, пять-шесть километров в сторону Замошья и там найдете противника. С противником вступить в бой и в эту сторону, к Теремцу Курляндскому, его не пускать, потому как горловину прорыва надо всячески расширять, а немцы будут стремиться ее сузить, а то и перерезать совсем.

С тем и двинулись. Из тех, кто объяснял задачу, никто с бойцами не пошел. Указали только направление. Шли-шли по нему и оказались под носом у гансов. Те подпустили взвод поближе и открыли огонь из автоматов. Убитых пока не было, а вот раненые появились. Стали зарываться в снег. Немцы в лесу, а красноармейцы в чистом поле, неудобно... Чекин заметил справа черную стену леса, скоординировал отделение: «На четвереньках – марш!» Подались к лесу. Командир взвода и остальные отделения отправил туда. Заняли оборону на опушке, окопались, тут и рассветать стало. И пришла беда. Подловила «кукушка» командира взвода. Пуля раздробила ему берцовую кость. Идти в медсанбат не мог. Чекин выделил двух бойцов и отправил командира, а сам остался за него, поскольку был во главе первого отделения, так и полагается по уставу.

Но сначала решил Степан избавиться от «кукушки». Немецкий снайпер еще одного бойца подстрелил, наповал сразил, попав в голову. Если его не остановишь, так он весь взвод перестреляет. Степан прикинул, откуда стреляли, и стал заходить туда по большой дуге, чтоб с другой стороны подобраться к немцу. Снег был глубокий, идти нелегко, да это и к лучшему, наверно, торопиться не приходилось, хочешь не хочешь, а иди медленно и, значит, осторожно.

Подождал Чекин к снайперу метров на триста. Ближе подбираться не стал. Услышать может... Степан видел стрелка на дереве, хорошо видел. А раз так, то снять его из «трехлинейки» дело нехитрое, ежели стрелять вообще умеешь. Чекин стрелять умел, научился еще на Невской Дубровке.

Вроде подстрелил «кукушку» Степан, но подходить к дереву не торопился. Немецкие снайперы часто так прикупали ребят. Изобразит этот тип на дереве картинку, будто в него попали, сбросит что-нибудь: вещмешок или чучело специальное... Мужики обрадуются и

бежать к дереву: готов, дескать, стервец эдакий. А тот того и ждет, выцеливает братцев-кроликов. Потому Степан и еще две пули в «кукушку» засадил, для верности стало быть.

Снайпер с дерева не упал, уронил только карабин с оптическим прицелом. Зацепился в ветвях, а может быть, и привязан был. Карабин Степан подобрал – бельгийский «маузер» образца 1924 года – и вернулся к своим. А там его обрадовали: ребята обнаружили длинную канаву в лесу, для оборудования позиции замечательная штука. Заняли канаву и увидели, что к ней из глубины немецкой обороны протоптана тропа. Попытался Чекин рвануться к немцам по тропе, но те так застрекотали из автоматов, что пришлось вернуться и засесть в канаве.

Теперь противник пошел в атаку, только наскок этот отбили шутя. Но завывли мины, появились потери. Чекин раненых отправил в тыл, пришли на замену новые бойцы. Степан едва успел их расставить – снова полезли немцы. Подпустили их поближе и отбились гранатами, кидали гранаты дружно. Чекин был ребятами доволен. Немного передохнули, и тут один боец-казах тащит из дальнего конца канавы немецкий пулемет МГ-34. А другой – чемоданистого вида ящик с магазинами к нему. Степан машинку эту знал отлично (комбат Скублов научил работать на ней), приладил пулемет на сошках поудобнее и, когда немцы снова показались, от души врезал им как следует.

Затихло на время, самый раз дух перевести. Да не тут-то было. Один чудик из второго отделения, заводной такой парень, психованный немного, забрался на сухое дерево, что стояло правее и впереди, и заорал во всю мочь: «Гитлер капут! Гитлер капут!» И такое тут поднялось! Не приведи господи. Немцы форменным образом взбесились. Закидали взвод минами, а потом пошли в атаку. Взвод встретил их залпами, Чекин стрелял из МГ-34, и опять отбились, правда едва-едва. Тут и пополнение пришло, десять красноармейцев, и с ними человек в полушубке. Идет по канаве и кричит: «Кто старший?» Показали ему бойцы на Степана, тот на левом фланге был. Подошел, поздоровался. «Я, – говорит, – старшина Петров, назначили меня командиром взвода к вам, будем драться вместе». Степан увидел четыре треугольничка на петлицах, обрадовался. Какой из него взводный? А этот старшина – сразу видно, что кадровый, бывалый вояка.

А гансы опять полезли, начался бой, теперь он едва не закончился для них бедою. И Чекин, и старшина все внимание вперед и влево определили, за правый фланг не беспокоились, потому как немцы туда не лезли. Степан был самым левым, потом два бойца-казаха, за ними Петров и с ним еще человек десять. Тут немцы поднялись и, стреляя из автоматов, пошли прямо на них. Пока отстреливались, в суматохе боя не заметили, что справа от Петрова их траншея вдруг опустела. Казах ткнул Степана в бок и показал, что оттуда все ушли, и сам за спиной Петрова побежал по траншее на тропу. Степан крикнул старшине: «Смотри вправо!» Петров повернулся и в свою очередь показал Чекину, как по тропе двигалось к ним полдюжины рослых немцев, поливая все вокруг из автоматов. За ними, шагах в пятидесяти, двигалось еще с десятков солдат.

«Давай гранаты!» – крикнул старшина и сам метнул одну за другой две штуки. Немцы попадали. Степан отдал Петрову свою гранату, а сам взял другую у бойца-казаха. Старшина еще одну бросил в немцев и побежал по траншее со второй гранатой в руке. Степан с казахом бросились за ним. В правом конце траншеи, куда прорвались немцы, лежал раненый казах и кричал: «Ходи нет!» Четыре бойца здесь были убиты, семеро раненых лежало на тропе, в снегу. Оттуда, где взорвались гранаты Петрова, доносились стоны ошарашенных разрывами немцев.

«Будем пробивать новую тропу», – приказал старшина. Перевязали раненых и стали утаптывать снег. С великим трудом продвигались по лесу и наткнулись вдруг на роту 82-миллиметровых минометов. «Почему не стреляете, мать вашу вперехлест?» – закричал на них старшина. «Нет команды», – отвечали минометчики Петрову. «А где командир?» – «На поляне, метров сто отсюда». Там стоял домик, из него вышел командир роты со «шмайссером» на плече. «Кто такие, – заорал, – куда идете?» Петров объяснил и добавил, что от взвода у

него осталось три человека, и ни одного патрона, кроме той гранаты, что так и держал в руке, ничего... Тут им вынесли цинк с патронами, и принялись они набивать карманы. Вооружились, вызвали санитаров забрать раненых, а сами отправились в канаву, оборонять рубеж.

Потом Петрова из взвода забрали, снова прибыло пополнение, были убитые и раненые, а Степан все воевал и воевал, будто заговоренный, никак его не цепляли пули. И вот он уже на другом рубеже. Их двенадцать человек, они заняли оборону в двух воронках, а чуть поодаль, в шалашах, раненые бойцы, которые не в состоянии двигаться сами, и потому Степан Чекин не может отступить с отделением ни на шаг. Он ждет, когда стемнеет, чтоб уйти подальше в лес, а немцы все насаждают, и солнце будто остановилось в небе... Теперь их в этой воронке только двое, патроны остались лишь в магазинных коробках винтовок и по одной гранате на брата. Стрельба все усиливается, она ближе, ближе, и Степан видит, как в пятнадцати метрах встают два немца, и один из них кричит: «Русь! Едреный русь! Сдавайся! Твою мать...» Тут Степан с бойцом заорали озлобленно и бросили в немцев по последней гранате. Ахнул сдвоенный взрыв, и стрельба прекратилась, тихо стало...

Начали отползать к шалашу, где были раненые. Вскоре еще трое ребят подросли, из второй воронки, сделали волокуши, чтобы тащить раненых в тыл. Пока возились у шалаша, совсем стемнело. Тут слышались голоса в лесу, русские голоса. Это подходил саперный батальон. Саперы вооружены были на славу. И ручки у них, и немецкое оружие, и винтовки СВТ, и автоматы нашего производства. Саперы – славные парни! – помогли им и раненых обиходить, и боеприпасами поделились. А потом дружно жажнули по немцам, те почувствовали, что против них идут с автоматическим оружием, и отступили.

До утра был Степан с оставшимися в живых бойцами у саперов. А утром пошли искать свою часть. По дороге его и зацепил пулей в правое плечо немецкий снайпер.

18

Вилли Земпер вышел из блиндажа, прошел метров пятнадцать по ходу сообщения и стал мочиться на заснеженную стенку окопа, с интересом наблюдая, как желтая горячая моча съедает голубоватый снег.

– Руки вверх! – крикнули вдруг по-русски.

Земпер вздрогнул, согнулся, ожидая удара, и разразился отборной бранью, когда услышал хохот Рудольфа Пикерта. Как истинный баварец, Вилли умел отменно ругаться.

– Перебил удовольствие, – ворчал Земпер, когда они возвращались в блиндаж. – Не мог подождать немного с дурацкими шуточками.

– Уж очень у тебя был философский вид, – сказал Руди.

Он возвращался с патрулирования позиции, промерз насквозь, но был в хорошем настроении, предвкушая добрый завтрак и кружку горячего кофе.

– Я смотрел на тебя и думал, что ты, по крайней мере, решаешь проблему космического порядка. О чем думал, Вилли, когда так вдохновенно поливал стенку?

– О коровах, – ответил Земпер.

– Не вижу связи, – сказал Пиккерт. – Коровы и обоссанный окоп... Ганс! Как насчет жратвы? Я проголодался, как мартовский кот, оберегая ваш с Вилли покой от иванов.

– Кофе в термосе, – ответил Ганс Дреббер, он был сегодня дежурным во взводе и потому освобожден от постовой службы, – а завтрак на столе. Торопись, пока не остыл.

Блиндаж их был рассчитан на шесть человек, но помещалось в нем пока четверо. Кроме трех товарищей жил здесь их фельдфебель Карл Фауст. Пользуясь тем, что обнаружилось свободное помещение, Фауст устроил себе выгородку, занавесив один из углов шелком от парашюта, на котором угодил на их позиции русский летчик.

Сейчас Фауста не было. Он менял группы, обеспечивающие контроль за позициями, которые находились между опорными пунктами. 25-я пехотная дивизия обеспечивала главную полосу оборонительной линии, опираясь на хорошо укрепленные узлы в Трегубове, Спасской Полисти, Мостках, в Любимом Поле и Мясном Бору. Главными были Спасская Полисть и Мясной Бор. Рядом с последним и находилась рота обер-лейтенанта Шютце, в которой служили Ганс Дреббер, Рудольф Пикерт и Вильгельм Земпер.

Оборонялись здесь они по обычной для зимнего времени схеме. Основную часть пехоты немецкое командование всегда стремилось разместить в населенных пунктах.

С местным населением захватчики при этом не церемонились. Крестьян вместе с малыми детьми выгоняли на улицу, едва дав им время, чтобы собрать пожитки. Люди подавались в начавшие подмерзать с осени болота, на волховские сопки – невысокие приподнятости, что вроде плоских островков возвышались над низменностью. На островах посуше, там и рыли землянки. Иные беженцы забивались в леса, норовили уйти в партизаны, отходили в сторону Пскова, старались выжить в сильные морозы, они начались уже в декабре.

Одновременно проводились серьезные инженерные работы, после которых деревушки превращались в значительные узлы сопротивления, взять их без предварительной мощной обработки артиллерией и авиацией было почти невозможно. На пространствах между населенными пунктами сплошной обороны немцы не создавали. Они не видели необходимости торчать в окопах на морозе, доходящем в эту зиму до пятидесяти градусов. Эти промежутки немцы патрулировали дозорами, усиленными и часто сменяемыми группами. В случае необходимости, когда создавалась опасность проникновения русских в их тыл через эти участки, дозоры поддерживались сильным огнем всех видов оружия из глубины и с флангов. Кроме того, загодя изготавившиеся резервы контратаковали подразделения Красной Армии.

Так воевали немцы. Русские воевали по-иному.

...Вошел Карл Фауст. Он обвел солдат усталым взглядом, остановил его на Земпере:

– Время, Вилли. Надеюсь, не забыл, что пришла очередь идти патрулем?

– Помню об этом и днем, и ночью, – огрызнулся Земпер. – И даже во сне... Сейчас буду готов.

Пикерт с наслаждением отпил глоток горячего еще кофе, крикнул от удовольствия, погладил себя по груди, он был сейчас в тонком вязаном свитере серого цвета, повернулся к товарищу, который принялся собирать амуницию, спросил:

– Так отчего же все-таки коровы, Вилли?

– Какие коровы? – спросил Земпер, он отводил затвор автомата, проверяя, не осталось ли случайно патрона в канале ствола.

– О которых ты думал, когда мочился на снег окопа, дорогой ландзер.

Вилли улыбнулся во все лицо. Оно стало добрым, просветленным.

– Эх, Руди, – сказал он, и грустная нотка появилась в голосе, – городской ты человек. Тебе не понять крестьянина... Когда идешь по дороге, где только что прошли твои коровы, и видишь желтый от их мочи снег, то сердце готово выскочить из груди от счастья. Так тогда хорошо на душе. И чем желтее снег, тем лучше. Значит, коров у тебя много... Ведь и *Eine Kuh deckt viel Armut zu* – одна корова покрывает большую бедность.

– И ты мечтал, как пригонишь из России стадо коров, которые зальют мочой всю Баварию... Не так ли? – спросил саксонец, прожевав кусок и запивая его кофе.

– В России нет хороших коров, – ответил Земпер. – Разве что в Прибалтике... А здесь все они беспородны. Ублюдки, а не коровы. Нужна серьезная племенная работа на десятки лет. Мне до этого не дожить... Поступлю проще. Закончим войну – отправлюсь в Голландию. Ведь все мы, ветераны Восемнадцатой армии, участвовали в походе на эту страну. Вот и пусть отдадут мне мой голландский трофей в виде двух-трех десятков коров.

– Бери уже сотню, Вилли, – предложил Ганс Дреббер.

– Я не жадный, – откликнулся Земпер. – К моим пяти голштинским да двадцать добрых коров из Голландии – о большем и не мечтаю.

Вилли был уже одет. Он повесил на шею автомат и взял в углу карабин с оптическим прицелом, с которым не расставался, авось удастся подстрелить зазевавшегося ивана.

– Счастливо, Вилли, – напутствовал Земпера Руди Пикерт. – Хорошей тебе охоты. Не забывай, что с каждым русским, отправленным тобой на тот свет, ты все ближе к встрече с голландскими коровами. Ведь генерал Кюхлер не позволит тебе отправиться в эту благословенную страну до тех пор, пока мы не победим здесь, в этой промерзшей до земного центра России.

– Удивляюсь, – сказал Дреббер, наблюдая, как Пикерт, закончив завтракать, прибирает на столе, – какого черта ты торчишь вместе с нами в этом вонючем Мясном Бору!..

– А где бы ты посоветовал мне торчать?

– В Плескау, при штабе группы армий, или, на худой конец, в Сиверском, у Кюхлера под крылом. Я говорю о службе пропаганды. Ты грамотный парень, Руди, учился в университете. А язык подвешен не хуже, чем у доктора Геббельса. В качестве пропагандиста ты принесешь больше пользы нашему делу, чем даже Вилли Земпер с его безотказным карабином.

– Может быть, Ганс, может быть, – сказал Пикерт. – Но все дело в том, что я не член партии...

– Тоже недоразумение. Ты, Руди, наш человек, искренне преданный идеям фюрера и национал-социализма, хоть и позволяешь себе порой двусмысленные шуточки. Но это у тебя от интеллигентской закваски, я понимаю... Тем не менее в любой момент поручусь за тебя перед нашей партией. Ты подумай над моими словами.

Ганс Дреббер встал, и теперь Пикерт увидел, что мастерил его товарищ, сидя в углу. Это была аккуратная рамочка, которой Ганс оправил портрет фюрера, его Руди видел в последнем номере иллюстрированной газеты для солдат вермахта.

Дреббер повернулся, оглядывая стены блиндажа, их уже украшали шесть портретов Гитлера, отыскал свободное место и стал пристраивать туда седьмое изображение фюрера.

– Выпьем кофе? – спросил Ганс у Руди, покончив с хлопотами. – Я подогрею.

Пикерт согласился. Он давно хотел поговорить с товарищем и подумал, что сейчас как будто подходящее время.

– Послушай, Ганс, – сказал Руди, когда кофе был согрет и разлит в алюминиевые кружки, – мы знаем друг друга уже третий год. Для военного времени – это вечность. И я всегда преклонялся перед твоей искренней верой в фюрера. Мне знакомо и его учение, читал я и труды коммунистических корифеев. Они утверждают, что за национал-социалистами пошли представители мелкой буржуазии, лавочники, деклассированные элементы, ну и сельские хозяева, вроде нашего Вилли. Но ведь ты, Ганс, типичный представитель германского пролетариата. Дед твой – гамбургский грузчик, отец – квалифицированный металлист, сам ты был призван с военного завода, как говорится, прямо от станка. И таких, как ты, в нашей роте немало. Пойми меня правильно, Ганс. Я хочу разобраться... Уж такой у меня извращенный ум. Не могу принять чего-либо до конца, пока не докопаюсь до сути. Конечно, мне понятна привлекательность идей фюрера, но...

– погоди, – остановил его Ганс. – Никогда и ни с кем не говорил об этом. Тебе, пожалуй, расскажу, хотя и замечал, как ты порой ухмылялся, когда я вешал на стены вот эти портреты. Для меня фюрер – выше бога, мне он дороже родного отца. Хочешь знать почему? Он помог мне ощутить себя Человеком, личностью.

– Даже так? – удивился Пикерт.

– Представь себе... Мой отец, Руди, и дед, кажется, и прадед тоже были социал-демократами. Отец, правда, вышел из этой партии болтунов и вступил в национал-социалистскую.

Я был еще мальчишкой, но уже понимал, что у социал-демократов нет цели, не защищают они интересы рабочих. Речи говорить умели, но справиться с буржуазией, с голодом не могли. Довольно быстро выяснилось, что путь, по которому вели нас эти говоруны, порочен. Надо было строить социализм в Германии по Гитлеру. Мы сделали выбор – и не ошиблись. Конечно, наша партия не могла совершить все сразу. Версальский мир заставил сначала вооружаться и показать всем тем, кто терзал бедную Германию, на что способны мы, немцы, когда нас ведет такой человек, как фюрер...

– Ты настоящий наци, Ганс! – воскликнул Пикерт. – Завидую твоей убежденности!

– Дорогой мой товарищ, – грустно проговорил Дреббер и покачал головой. – Ты не знал, что такое кнопки...

– Какие кнопки? – недоуменно спросил Саксонец.

– Обыкновенные. Те, что используют как застёжки на белье и платье. Кнопки... Много кнопок! Двадцать тысяч кнопок! И всего за одну марку...

– О чем ты говоришь, Ганс?

– О кнопках, которые привели меня к фюреру. Послушай, Руди, про это вам не рассказывали в университете. Во времена кризиса, в тридцать первом году, мне исполнилось двенадцать лет. Мой старик получал грошовое пособие как безработный. Таких, как он, в Германии были миллионы. Правительство бессильно. А толстосумы спешили нажиться, корыстно использовать национальное богатство. И вот крупнейшая в Гамбурге галантерейная фирма решает отказаться от машинного производства. Ручной труд белых рабов стал им выгоднее. Они стали раздавать работу на дом... Приходит мой старик на склад и получает по счету крохотные бельевые кнопки. Махонькие такие штучки, Руди, похожие на небольших жучков или божьих коровок. А к этим «коровкам» прилагаются сотни картонок с рекламой фирмы: ухмыляется полуголая баба, натягивает чулочки и надпись – «Хуберт Кохинур». Но тут небольшая как будто загвоздочка. Ведь старик Дреббер получает пособие. Узнают, что он подрабатывает у «Хуберта», пособия лишат. Значит, работу эту он берет так, чтоб никто не пронюхал. А коли боится, то стоит ли с ним церемониться, с этим бывшим рабочим, профессионалом высокого класса?!

Дреббер опустил ладонь на края алюминиевой кружки и сжал так, что они едва не сблизились. Руди осторожно разжал его пальцы и высвободил кружку. Ганс не сопротивлялся.

– И вот, дорогой мой товарищ, – продолжал он, шумно вздохнув, – представь себе каморку в подвале. На столе коптит керосиновая лампадка. Вокруг – наша семья. Отец с матерью, полуслепая уже бабка, мои старшие брат с сестрой, Паулю было тогда восемнадцать, потом он погиб в Африке, Лизхен – пятнадцать. Сiju здесь и я, с нами десятилетний Карл и маленькая Мария. Ей только шесть лет... Шесть лет, Руди!

Голос Ганса прервался. Помолчав, он начал говорить снова:

– Перед каждым из нас двумя кучками половинки кнопок.левой рукой берешь чистую картонку с ухмыляющейся стервой, продеваешь правой снизу часть кнопки со шпёнком и накрываешь ее сверху другой половинкой... Вот и вся операция. Два движения на каждую кнопку. Да еще когда берешь карточку и еще – откладываешь заполненную в сторону. За каждые шестьсот карточек мы получаем одну марку. Одну, Руди. Двадцать тысяч кнопок, сорок пять тысяч движений. И одна марка... Мы все потихонечку слепли. Работа мелкая, зрение напряжено. Через каждые десять-пятнадцать минут кто-нибудь вставал из-за стола, шел в угол, где стояла миска с водой, мочил в ней пальцы и прикладывал к глазам. Нам говорили: помогает. Глаза у всех были красными, а у бедной Марии они постоянно слезились. Теперь я, солдат вермахта, ношу очки, а у сестренки зрение совсем плохое.

Потом пришел фюрер... Фюрер не дал нам до конца ослепнуть, помог вытравить из наших душ рабское начало, оно уже свивало гнезда в сердцах. Отец получил работу. Пауль устроился в порту. Я смог снова ходить в школу. Фюрер вернул нам человеческое обличье. И если надо, я всю эту страну покрою его портретами... Этому человеку ничего не надо для

себя лично. Все его помыслы, вся его жизнь принадлежат народу Германии. И пусть я только песчинка, но и составная часть этого народа тоже. Ты понял меня, Руди?

Пикерт не успел ответить. В блиндаж ворвался командир взвода лейтенант Геренс.

– Всем быстро! – закричал он. – Тревога! Русские наступают со стороны Волхова! Занять позиции и приготовиться к бою!

19

Александр Иванович Запорожец, член Военного совета Волховского фронта, прибыл на наблюдательный пункт генерала Клыкова, на левый берег Волхова, едва его подразделения продвинулись в глубь вражеской обороны. Клыков не стал ждать, когда ему построят блиндаж, а занял первую же попавшуюся землянку между лежащими рядом деревнями Костылево и Арефино, в пятнадцати километрах от Мясного Бора, за который вела сейчас бой 366-я дивизия полковника Буланова.

– Доложи обстановку, Николай Кузьмич, – сказал Запорожец командарму, и Клыков, водивший пальцем по карте и ворчавший неразборчиво под нос, не услышал пока в голосе его странной интонации.

– Трудно берем оборону, – ответил Клыков, – трудно... Жестко окопался немец. Авиацию бы сюда! И снаряды вот бережем... Обещанные два боекомплекта так пока и не получили.

– Подвезут, – заверил Запорожец. – Мы тут тебе гвардейские минометы подбрасываем.

– «Катюши»?! – оживился командарм. – Это здорово! За это спасибо, товарищ армейский комиссар. «Катюши» немца с места сдвинут. Он ведь, немец, какой: его только выкури, стронь с позиции... побежит, аж пятки засверкают. Но остановиться не давай. Упустил момент, задержался немец – он тут же зарывается в землю. Тогда его снова оттуда ковыряй. Добрые у них саперные войска.

– У нас не хуже, – отозвался Запорожец, беспокойно как-то озираясь по сторонам. – Вы бы только в бой их не бросали, саперов. Чуть где слабинка – специальные войска идут на затычку. А ведь есть приказ Ставки... Беречь саперов надо! Ну, что у тебя дальше, говори...

– По всему фронту наступления армия вышла на шоссе Новгород – Чудово. Тактическую оборону мы прогрызли. Ведем бой за Спасскую Полисть и Мясной Бор. Бор этот самый полковник Буланов только что взял, докладывал недавно, а вот у Спасской Полисти дивизию полковника Антифеева противник остановил. Понимает, что мы рвемся к Чудову вдоль железной дороги, а там и Любань недалеко. Не пускают нас туда немцы. Ну что еще? Сто девяносто первая дивизия очистила от противника Любино Поле. Рогинский ведет бой за деревню Мостки. – Клыков посмотрел на часы. – Должен уже взять... Я дал твердые сроки. Рогинский любит, когда ему назначаешь время: взять, мол, деревню к пятнадцати ноль-ноль. И берет... Сейчас связной прибудет, если по дороге не убьют.

– Насчет связного не скажу, генерал, – проговорил Запорожец, – а вот ты сейчас на волоске от смерти... Понял? Растуды тебя налево!

Клыков недоуменно посмотрел на члена Военного совета, смешно заморгал глазами. Он впервые слышал, как матерится армейский комиссар, хотя знаком был с Запорожцем давно.

– На чем ты сидишь, Клыков? – закричал вдруг Запорожец, не в силах больше сдерживаться. – Я тебя спрашиваю?..

– На табуретке, – попытался улыбнуться все еще ничего не понимающий генерал-лейтенант.

– Сам ты табуретка, Николай Кузьмич, прости меня на резком слове... Иди сюда, будущий покойник!

Он подхватил командарма под руку, подвел к входу, где стоял часовой, и ткнул пальцем в тонкую проволоку, уходящую в сторону:

– Вот она, твоя смерть, командарм... Задень ее – и только пыль останется от генерала Клыкова. Да и от меня тоже... Вызывай саперов! Мне на тот свет рано, да и ты, Клыков, не торопись.

Прибыли саперы. Они установили, что землянка, в которой командарм так поспешно оборудовал наблюдательный пункт, действительно заминирована. Сто килограммов взрывчатки заложили сюда враги. А проволока, обнаруженная глазами комиссаром, тянулась к капсулю натяжного действия.

– Должник я твой, Александр Иванович...

– Должник, – ворчал Запорожец. – Ладно, после войны рассчитаемся. А вот если б жажнуло тут тебя, я бы в карточку твою учетную строгача вписал. Посмертно...

От командира 111-й дивизии прибыл связной и доложил, что деревня Мостки освобождена, подразделения очищают от противника лес западнее Спасской Полисти.

– А сама Полюсть? – спросил армейский комиссар. – Когда возьмешь ее, Клыков?

– Там Антюфеев, – сказал командарм, – решительный и смелый командир. И если его дивизия остановилась, значит, там черт знает что у немцев. Хочу сам пробраться туда.

– Нет уж, сиди здесь, – остановил его Запорожец, – не то скоро ты и роты поведешь в атаку... Гости к тебе будут, Николай Кузьмич. И Спасскую Полюсть ты к их приезду постарайся взять.

Едва Запорожец уехал, обстановка резко усложнилась. С двух сторон, от Подберезья с юга и от Спасской Полисти с севера, немцы крупными силами пошли в контратаку. Их поддерживал сильный артиллерийский и минометный огонь.

«Хотят взять нас в клещи, – подумал командующий Второй Ударной. – А мы едва-едва зацепились... Может быть, Галанин поможет?»

– Свяжитесь со штабом Пятдесят девятой армии, – приказал Клыков связисту. – Пусть усилят атаки правее Спасской Полисти.

«Если у Галанина обозначится успех, – размышлял Николай Кузьмич, – немцы бросятся туда и ослабят нажим на нас».

– Кончились снаряды, – доложил начальник артиллерии.

– Не подвезли, значит... Ах вы, стервецы несчастные! Разрешаю израсходовать неприкосновенный запас!

– Но ведь... – начал было артиллерист.

– Разрешаю! – закричал Клыков, и тот исчез.

Вскоре командарму доложили, что немцы в поддержку пехоте двинули танки.

«Только их еще не хватало, – горько усмехнулся про себя Клыков. – Чем их остановишь? Штыками?»

– Товарищ генерал-лейтенант, – обратился к нему начальник штаба, – мы оставили Коломно. Немцы наседают. Подразделения откатываются к берегу реки. Под угрозой деревня Костылево.

– Где снаряды? – закричал Клыков. – Начальника охраны ко мне! И вы все – за мной!

Командарм выскочил из землянки, увлекая за собой группу штабистов. На ходу отдавал приказания:

– Из второго эшелона выдвинуть через Костылево Двадцать вторую стрелковую бригаду! Всю охрану НП в бой! Командирам Триста шестьдесят шестой и Сто девяносто первой дивизий бросить навстречу противнику, который наступает от Подберезья на Любино Поле, все резервы! Приказываю: все резервы, до последнего человека!

– Подвезли снаряды, товарищ командующий, – доложил появившийся начальник артиллерии.

– Чего вы ждете? – резко спросил Клыков. – Немедленно открывайте огонь! Снарядов не жалеть! Где обещанные «катюши»?

Никто командарму не ответил. Он замолчал и смотрел, как недалеко от наблюдательного пункта разворачивалась стрелковая бригада, цепи ее стали быстро продвигаться вперед. Немцы тоже приближались. Еще несколько минут, и бригада в шестистах метрах от клыковского НП завязала огневой бой с противником.

– Товарищ генерал, перейдемте в укрытие, – неуверенно проговорил за спиной командарма его порученец, но Николай Кузьмич досадливо отмахнулся.

Бой разгорался.

«Сомнут, – подумал Клыков. – Вон их сколько... Да еще эти танки».

Цепи стрелковой бригады залегли: немцы обрушили на них минометный огонь. Командарм выругался сквозь зубы. И тут вдруг загудело, завывало, зафурыкало. Из-за Волхова, со стороны Городка, протянулись по небу огненно-дымные стрелы. Они накрыли передовые цепи наступающих, вздыбили землю и снег; поле, по которому продвигался противник, заволокло багровой и черно-коричневой завесой.

Наша пехота снова поднялась в атаку. Навстречу ей бежали в ужасе немецкие солдаты без оружия, с поднятыми руками.

«А что у меня на левом фланге?» – подумал командарм, И, будто прочитав его мысли, начальник штаба доложил, что немцы, наступавшие от Подберезья, опрокинуты и отступили по шоссе к Новгороду. Атака танков отбита. Один из них захвачен. Сообщают, будто это и есть знаменитый немецкий «Тигр».

20

Фельдфебелю Фаусту не повезло. Когда русские пошли в атаку и прорвались в их тыл, занимая траншеи вокруг опорного пункта, который защищала рота обер-лейтенанта Шютце, Фауст повел солдат в бой и на повороте траншеи столкнулся с рыженьким и шуплым на вид иваном. Тот потерял шапку, а может быть, ее сорвала пуля. Отросший на голове ежик волос отливал ярко-медным. Иван держал перед собой винтовку с примкнутым штыком и, когда Фауст вывалился на повороте, пронзительно крикнул и всадил фельдфебелю штык в живот.

Боли фельдфебель не почувствовал. Его охватила ярость оттого, что путь ему дальше заказан. Фауст взревел, вскинул автомат и увидел: у автомата нет рожка-магазина. А русский солдат, растерянно улыбаясь, дергал и дергал штык, застрявший в его теле. Они заняли проход. Руди Пикерт, двигавшийся следом, увидел, как все застопорилось, выбрался на бруствер. Он смотрел, как пытается выдернуть штык из Фауста рыжий парень. Фельдфебель ревел и визжал, выпучив глаза. На губах его пузырилась пена. Фауст схватил автомат за ствол и, действуя им как дубинкой, пытался ударить русского по непокрытой голове. Тот, не выпуская винтовки из рук, отклонял голову от ударов, и приходились они по плечам, прикрытым серой шинелью.

Короткой очередью Руди свалил ивана, и тот упал навзничь, так и не выпустив винтовки. Фауст схватился руками за штык, выдернул его из себя и с громким стоном упал на дно траншеи.

По их телам пробежали Ганс Дреббер и остальные солдаты. Пикерт остановился наверху. Он заметил, что к нему, неистово крича, приближается с десятков русских солдат, спрыгнул в траншею, на ходу оборвал шнурок у гранаты и швырнул ее. Оглянулся и на мгновение оцепенел от ужаса: его граната возвращалась обратно. Руди слышал от бывалых вояк, что эти русские ухитряются перехватывать гранаты на лету и возвращать туда, откуда они прилетели, но сам такое видел впервые.

«Ловкие черти», – отстраненно подумал Руди, будто не его смерть вращалась в воздухе. Но тут же рванулся вниз, упал ничком, стараясь втиснуться в лисью нору, вырытую в стенке. Граната, к счастью, не долетела до траншеи и разорвалась в воздухе, над бруствером, сбросив на спину Пикерта комья мерзлой земли.

Руди встал на четвереньки, потом поднялся и увидел незнакомого ландзера. Впрочем, его никто бы сейчас не узнал... Осколки разорвали солдату лицо, оно превратилось в кровавую мокрую маску. Он тискал лицо окровавленными руками, завывая и суча ногами. Руди схватил его за рукав, лихорадочно думая, как помочь солдату, но тот вдруг, тихонько заскулив, поднял вверх руки, крутанулся на месте и упал плашмя на дно окопа.

Донесся голос командира взвода. Геренс приказывал рассредоточиться и приготовиться к контратаке. Руди искал глазами Дреббера. Ганса не было видно. «И Вилли Земпер пропал», – подумал Пикерт, и тут из глубины их обороны заработали минометы.

Атака русских захлебнулась.

После минометной подготовки атаки обер-лейтенант Шютце приказал роте наступать. Пикерт выбрался из траншеи и двинулся вперед, успев сменить у автомата магазин и рассмотреть, что Ганс Дреббер идет слева от него и чуточку впереди. Русские стреляли, но винтовочный огонь их был редок. Беспрерывный треск немецких автоматов, частые очереди заставляли иванов прижиматься к земле – вести прицельный огонь было им трудно. Иные вообще стреляли просто так, не отрывая головы от земли.

А Руди Пикерт и его товарищи упрямо продвигались вперед, поливая пулями лежащее перед ними пространство.

– Вперед, солдаты! Еще немного – и мы сбросим иванов в реку! – браво кричал командир взвода. И вдруг швырнул в сторону автомат, поднял вверх руки и застыл так на мгновение.

Руди, обогнав Ганса, повернулся и заглянул ему в лицо. Из правого глаза командира взвода, вернее, из того места, где только что был глаз, стекала по шее кровь. Геренс, не опуская рук, закружился вдруг, широко раскрывая рот, будто зевал, и ничком сунулся в изрытый снег.

Руди добрался до большой воронки. На дне ее валялся разбитый станковый пулемет. Рядом лежали два мертвых ивана, а третий, обросший густой черной щетиной, с ужасом смотрел на Пикерта и мелко-мелко крестился. Саксонец застрелил его и собирался бежать дальше, только вдруг завывало над головой, небо разорвалось в клочья, и Руди бросился в воронку, припал к земле рядом с убитым им красноармейцем.

Вокруг грохотало, казалось, небо обрушилось на землю.

«Это дьявольское оружие русских! – мелькнуло в сознании Пикерта, который инстинктивно прижимался к теплomu еще трупу врага. – Господи, если ты существуешь, помоги мне вернуться живым... Господи, помоги!»

21

Штаб Второй Ударной армии уже перебрался на левый берег Волхова и стал размещаться в деревне Новая Кереть, когда Александр Георгиевич Шашков вернулся к себе в Особый отдел из Малой Вишеры. Там он наблюдал за отправкой в Москву захваченного «Тигра».

Дело это оказалось не простым. Уже задолго до начала январского наступления Шашков из различных источников получал информацию о скором появлении на Восточном фронте нового тяжелого танка. Впрочем, гитлеровцы не делали из этого тайны, скорее наоборот. Вражеская пропагандистская служба на все лады превозносила новую машину, настойчиво утверждая, будто бороться с этим бронированным чудовищем невозможно.

Когда в штабе армии стало известно, что подбит и захвачен «Тигр», этому никто не поверил. Сомнение вызвало сообщение, будто стреляла по «Тигру» «сорокапятка» сержанта Кустова. Это было совсем уж фантастично. Снаряды 45-миллиметрового орудия не брали броню более четырех-пяти сантиметров. А тут не просто танк – «Тигр».

Александр Георгиевич выехал на место, разыскал расчет Кустова, поговорил с артиллеристами, расспросил свидетелей. Трофей уже дотошно обследовали танкисты.

Все было так, как доложили в штаб. «Тигр» двигался в сопровождении четырех танков Т-IV. Видимо, немецкое командование надеялось испытать экспериментальную машину в бою да заодно поднять дух собственных солдат. И русских поугатать не мешало...

Батареи гвардейского дивизиона открыли огонь. Орудие сержанта Кустова вело стрельбу по выделявшемуся среди остальных машин «Тигр». Артиллеристы знали, что снаряды их отскакивают, как горох от стены, но продолжали стрелять в надежде хотя бы ослепить танк, если удастся угодить по перископу.

И вдруг «Тигр» замер. Два других танка загородили его от русских, и видно было, как экипаж «Тигра» перебрался в другие машины. По ним стреляли из винтовок, но зацепить никого не удалось. Танки сорвались с места и умчались, оставив неподвижного «Тигра» на шоссе Новгород – Ленинград.

Пришел командир танковой роты и доложил начальнику Особого отдела, что захваченная машина исправна.

– Форменная у них чепуха стряслась, товарищ комбриг, – сказал танкист, углядев на воротнике кожаной куртки Шашкова вишневый ромбик. – Видно, когда двинули по нему из нашей мухобойки, – так непочтительно назвал он «сорокапятку», – то от сотрясения оборвался провод зажигания. Движок у него и скис. А немчуре и невдомек. Вот и драпанули... В неподвижном танке сидеть кишка у них слаба. А машина хоть куда! Могу и в бой на ней двинуть...

– В Москву надо двигать, парень, – заметил Шашков. – А пока до Малой Вишеры сумеешь?

– Это нам раз плюнуть. Вот только ледок на Волхове как? Удержит ли такую махину?

– Должен удержат, – произнес Александр Георгиевич.

Командарм Клыков прислал начальника инженерной службы. Тот должен был дать заключение по волховскому льду. «Тигр» – это ладно, а вот собственные танки находились еще на правом берегу, их давно пора было бы двинуть на помощь матушке-пехоте. Армейский инженер обследовал состояние реки и доложил, что сможет нарастить лед до необходимой толщины, только нужна солома.

– А где ее взять? – спросил Шашков и подумал, что теперь он еще и в хозяйственных делах увяз с этим чертовым трофейным танком.

А куда денешься, если есть строжайшее указание фронтового начальства.

Соломы в окрестности не было. Шашков связался с Клыковым, командарм разрешил взять батальон красноармейцев из резерва, те быстро разобрали сараи на берегу и всю ночь укладывали сплошной бревенчатый настил на волховском льду.

А утром прилетели «Юнкерсы». Они разделились на две группы и, завывая, принялись бомбить: одна – замаскированные танки, вторая метила в одиноко стоявшего на шоссе «Тигра», его не догадались отвести в другое место. Собственно говоря, остался «Тигр» на прежнем месте по той причине, что кто-то слил из его бака горючку. Шашков замотался с инженером по части льда, потом сараи крушил для настила и между прочим распорядился доставить бочку горючего на левый берег. Бочку привезли в санях, и только на рассвете явился к начальнику Особого отдела прикомандированный к нему танкист и, едва сдерживаясь от облегчающего душу мата, доложил, что привезли с того берега солярку. «Ну и что с того?» – не сообразил поначалу Шашков. «А хреновина получается, товарищ комбриг, – мрачно сказал танкист. – Немецкие танки на бензине ходят...» Пока отряжали гонца за бензином – рассвело, тут и воронье налетело. Шашков ругался сквозь зубы, глядя со своего НП, какая свистопляска поднялась вокруг немецкого танка, но было уже поздно, оставалось уповать на случай.

И он не подвел, капризный случай: «Тигр» закидало снегом и мерзлой землей из близких воронок, а сам он не пострадал ничуть; дождались ночи, и «Тигр» пошел своим ходом в Малую

Вишеру. Пока переходил Волхов, Шашков с инженером малость подергались внутренне, опасались за крепость льда, но лед тоже не подвел, выдержал.

В Малой Вишере немецкий танк встретили фронтовые технари и особисты. Александр Георгиевич дождался, пока трофей погрузили на платформу, забежал в Особый отдел фронта за новостями, начальству показался, текущие указания получил и заторопился домой, во Вторую Ударную.

...Штаб армии не отставал от рвущихся к Ленинграду дивизий. Не успел Шашков вернуться из Малой Вишеры в Новую Кересть, как командарм Клыков приказал штабу перебраться дальше на северо-запад, в деревню Огорели, она стояла рядом со станцией Огорелье на железной дороге Новгород – Ленинград. А командный пункт Клыков решил перенести правее, в деревню Ручьи.

Уже была захвачена станция Еглино, 59-я стрелковая бригада оседлала разъезд № 7, а кавалеристы Гусева, подкрепленные 46-й дивизией и одним из полков дивизии Антюфеева, повели через Красную Горку наступление на Любань. Противник стягивал резервы. Боевые действия приняли своеобразный характер. Дрались за немногочисленные населенные пункты, укрепленные немцами, наступали вдоль дорог. Обходные маневры исключались из-за глубокого снега, в нем безнадежно увязала техника, выбивались из сил люди. Отсутствовала и сплошная линия фронта. В промежутки между группками измученных бессонными ночами красноармейцев, лишенных горячей пищи и крыши над головой, просачивались автоматчики. Когда гитлеровцам удавалось незаметно снять часовых, они вырезали русских целыми взводами.

Шашков был с командармом на КП, когда за их спинами началась вдруг ожесточенная стрельба. Посланный командиром роты боец сообщил, что в тыл прорвалась группа автоматчиков. Вскоре ее окружили и стали понемногу расстреливать: сдаваться в плен гитлеровцы не помышляли.

– Надо остановить бойцов, – сказал начальнику Особого отдела командарм. – Перебьют всех, на развод не оставят. А мне «язык» нужен. Распорядитесь, Александр Георгиевич.

Клыков контрразведчика и комиссара называл по имени и отчеству.

– Впрочем, – спохватился он вдруг и расстегнул кобуру пистолета, – я пойду тоже, авось и самому пострелять придется.

Особист хотел было возразить: не дело командарма ходить на немцев с пистолетом, но он знал, что спорить с Клыковым бесполезно, и только мигнул порученцу – выдели, парень, двух надежных бойцов из нашей роты.

Так и пошли, ориентируясь на затихавшую стрельбу.

Позади слышались крики: «Эй! Посторонись! Дорогу дай!» Их догнали крытые санитарные сани. Они свернули вправо, откуда все еще слышались выстрелы. Вот уже деревья скрыли сани, когда Шашков неожиданно метнулся наперерез по натопанной тропе и закричал возчику, чтоб тот немедленно остановился. На передке саней сидел пожилой солдат. Большая, не по голове шапка-ушанка закрывала верхнюю часть лица, густая, тронутая проседью борода задорно выдавалась вперед.

– Чего надобно? – недовольно спросил солдат Шашкова, который был в белом полушубке и обычной ушанке, без знаков различия. Солдат держал в руках вожжи, готовый вот-вот тронуться с места.

– Кого везешь? – спросил Шашков.

Возчик презрительно отвернул лицо и сплюнул вправо.

– А никого... Вон стреляют в лесу. Али не слышишь? Вот и еду – может, нужен кому окажусь. – Тут подошел Клыков с охраной. Командарм посмотрел на задок саней, прикрытых пологом из брезента, и все увидели подошвы огромных ботинок, торчащих из-под полога.

– Вье! – крикнул лошади возчик. – Вье-вье!

Он задергал было вожжами, собираясь скрыться, но Шашков остановил:

– погоди... Ты все-таки посмотри, кого везешь.

– Вот еще хруст на мою голову, – сказал возчик и принялся слезать с облучка.

Он обогнул сани, подошел к задку, увидел ботинки и спокойно постучал о подошвы кнутовищем.

– Эгей, парень, – сказал возчик, – давай вылазь, покажись начальству. Вроде бы я тебя не сажал...

Он рассмотрел уже папаху Клыкова, смекнул, что зарвался, но виду не подавал, будто все происходящее его не касалось.

Ботинки оставались неподвижными.

– Кому говорят – вылазь! – озлился солдат и снова стукнул кнутовищем в подошвы.

Повинуясь знаку Шашкова, двое бойцов откинули полог и извлекли оттуда здоровенного унтер-офицера с автоматом на шее. Когда тот выпрямился, растерянно озираясь, оказалось, что рослый начальник Особого отдела едва повыше плеча этого немца.

– Ну и гусь! – сказал Клыков. – Ничего себе пассажир...

– А говорил – никого, – укорил, улыбаясь, Шашков возчика.

Ошарашенный случившимся, солдат молча смотрел, как обезоруженного немца повели красноармейцы. Потом не спеша развязал тесемки, снял шапку, крикнул, поскреб коротко остриженную голову, повернулся к начальнику Особого отдела и с неожиданным надрывом заорал: «Да мало ли их здесь шатается, говнюков эдаких?! Разве за всеми усмотришь?» Тут боец присовокупил собственное мнение о близлежащих родственниках забравшегося к нему в сани немца, также не спеша натянул на голову шапку, завязал тесемки, плюхнулся на низкий облучок, задергал вожжами, крикнув при этом «вье-вье», и тронулся туда, где выстрелы еще не затихали.

– Вот и «язык» для вас, товарищ командующий, – сказал Шашков. – С доставкой на дом...

– Как вы догадались? – спросил Клыков.

– А я не догадался... Видел, как он из-за ствола метнулся и прыгнул под полог в сани.

– Видели? – удивился Николай Кузьмич. – Но ведь мы рядом шли...

– Профессиональный навык, товарищ генерал. Двадцать лет охочусь за бандитами. А этот пассажир с теми же повадками.

– Пусть его допросят побыстрее, – сказал командарм. – Скажите разведчикам, чтоб подключились. Обстановка у противника быстро меняется. Немцы всерьез озабочены нашим наступлением. Я просто нутром чую, как они отовсюду гонят сюда свежие силы.

...Николай Кузьмич оказался прав. Захваченный унтер-офицер, он был в составе той команды, которая шастала по нашим тылам и сумела выйти на КП командарма, на удивление быстро согласился давать показания. Шашков даже засомневался в искренности намерений пленного. Немцы из группы армий «Север» были крепкими орешками, расколоть их почти всегда оказывалось трудно.

А этот заговорил... Конечно, его собирались перепроверить, но уже первая сообщенная им новость была важной и подтверждала опасения командарма: в район Любани прибыли пять новых пехотных дивизий. Они составили оперативную группу, командовал которой генерал Герцог.

Александр Георгиевич решил прервать допрос, чтоб доложить Клыкову о полученных сведениях. Когда немца увели, вошел заместитель начальника Особого отдела Горбов.

– Что, Федор Трофимович? – спросил Шашков.

– К вам посетитель, – ответил Горбов. – Станный человек. Говорит, из штаба фронта. В капитанском звании, интендант. Документы я проверил – точно, из Малой Вишеры. Лично, говорит, к товарищу Шашкову.

– А как фамилия? – спросил начальник Особого отдела.

– Одинцов.

22

Пили чай.

Когда Александр Георгиевич узнал, что прибыл капитан Одинцов, он послал к командарму Горбова, чтобы тот поставил Клыкова в известность по поводу оперативной группы генерала Герцога.

– С прибывшим товарищем займусь сам, – сказал Шашков.

– Когда вернетесь от генерала, продолжайте допрос. Будет что-либо из ряда вон – сообщите.

Порученец Шашкова быстро накрыл стол в землянке, которую занимал начальник Особого отдела, соорудил закуску, а когда хозяин и гость сели, осторожно положил на край трофейную фляжку, обтянутую сукном.

– Причастимся? – спросил Александр Георгиевич и встряхнул фляжку. Она даже не булькнула, налита была «под завязку».

– В пределах нормы, – улыбнулся Одинцов.

– Значит, по полкружке, – уточнил Шашков и стал наливать, искоса взглянув на порученца. Тот медленно наклонил голову и исчез.

– С приездом, Дмитрий Антонович, – произнес начальник Особого отдела, – и за успех.

– А вам привет от Фокина, – закусывая, сказал Одинцов. – Помнит вас по Туркестанскому фронту...

– Спасибо! – оживился Шашков. – Помнит обо мне... Спасибо.

Он отложил ложку, задумался, ушел отсюда, от этих проклятущих холодов и снегов, в жаркое свое прошлое. Потом спохватился, придвинул гостю тарелку с кусками жареного мяса.

– Отведайте, – предложил Александр Георгиевич. – Фирменное блюдо нашего отдела. У меня два казаха служат, они и изготовили...

– Небось из конины? – спросил Одинцов.

– Из нее самой... А что? Вполне съедобная вещь. В Туркестане у нас конина шла не хуже барашка.

Он угощал Одинцова совсем как на Востоке. И кониной по-казахски потчевал, и вопросов не задавал... Не положено спрашивать таких людей, как этот вот интендантский капитан, хоть он, Шашков, по своему положению обязан в случае необходимости спросить о чем угодно любого человека в своей армии. Любого, только не этого... О чем надо, он сам спросит, что сочтет нужным – скажет.

Александр Георгиевич незаметно вздохнул. По роду службы он все больше встречался с теми, кто работал против нас, хотя иногда приходилось и провожать, и встречать таких, как нынешний его гость. И всегда думал Шашков о том, что не суждено ему вот так, как они, схватываться с врагом на равных там, за кордоном, где неоткуда ждать помощи и целиком полагаешься на самого себя.

Шашков был опытным контрразведчиком и понимал, что держаться эти люди могут только на безупречном поведении в чужом логове, на тщательно отработанной легенде и, находясь в волчьей стае, по-волчьи выть им приходится тоже. Пожалуй, самое трудное в профессии разведчика, ибо от глубоко запрятанной своей сути – куда денешься. И нельзя иначе... Чуть изменил своей роли – насторожишь контрразведку. Вызвал чем-либо ее подозрение – пиши

пропало. На твоей разведывательной деятельности можно ставить крест. Не родился еще человек, который, вызвав интерес контрразведки, мог бы продолжать свою работу. Спасти жизнь, перейдя на нелегальное положение, он может. Но для разведки в данной ситуации этот незадачливый агент безнадежно потерян.

Конечно, Александр Георгиевич понимал: каждому свое. Поздно ему думать о подвигах в обличье немецкого офицера. И годы не те, и грамота другая... В анкете своей он так и писал: образование низшее, три класса городского училища. У тех, кто пришел тогда в революцию, иные были мерки знаний, определялись они не классами, да и Шашков продолжал учиться после Гражданской войны, в 24-м закончил специальную школу ПЗУ, впрочем, он всю жизнь учился... И все-таки сознавал, что для того, чтоб стать таким, как этот вот интендант, время им давно уже упущено.

А если б знал Шашков, как причудливо складывалась жизнь Одинцова и каким необычным путем пришел его гость в разведку, то вздохнул бы Александр Георгиевич еще раз и обругал себя мысленно за мальчишеские бредни. Потом бы и восхитился теми, кто умеет добывать для разведки людей с такими необычными судьбами.

...Родился Дмитрий Одинцов в Москве. Это было его подлинное имя, тоже небывалый случай в разведке – действовать без псевдонима. Правда, в Германии его звали иначе... Родился он в 1909 году, в семье известного инженера Антона Одинцова, занявшегося к этому времени коммерческой деятельностью. Весной 1914 года родители пятилетнего Димы переехали в Берлин. Антону Аристарховичу предложили возглавить филиал русской торговой фирмы в Германии. Он согласился, памятуя еще и о том, что его супруге, Елене Станиславне, урожденной Дихновской, врачи рекомендовали воды Карлсбада. Кроме того, в Дрездене жила свояченица Одинцова Мария Станиславна, она годом раньше своей младшей сестры вышла замуж за известного саксонского архитектора Вильгельма Гиллебранда. Сестры нежно любили друг друга, и переезд, хотя и временный, в Германию пришелся по душе Елене Одинцовой.

Когда разразилась война, Мария гостила у родственников в Берлине. Она тяжело переживала недавнюю гибель сына своего Вальтера, ровесника Димы. Когда семья Гиллебрандов жила в Париже, Вальтер попал под карету и был убит лошадью. Архитектор уехал в Мюнхен, где строился по его проекту дворец одного из баварских магнатов, и старался в работе забыть о постигшем несчастье, а Мария осталась у сестры в Берлине.

Теперь родственникам Марии Гиллебранд угрожало интернирование. Антон Одинцов не обладал дипломатическим иммунитетом – и Мария принялась энергично действовать, чтобы спасти от этой участи хотя бы племянника.

Сделать это в создавшемся положении оказалось просто. Мария Гиллебранд уговорила отдать ей на время Диму. В Дрездене Мария выдаст ребенка за Вальтера, даже бумаги на него не надо выправлять. Немецкий язык мальчик знает сносно, бедный Вальтер говорил и по-русски тоже, только надо временно забыть, что он Дмитрий, и отзываться на имя несчастного кузена.

...Вот так случилось, что Дима Одинцов стал Вальтером Гиллебрандом. Судили-рядили, полагая, что все быстро кончится, ну месяц, от силы – два, Одинцовы приедут в Дрезден и заберут своего мальчонку.

Но так располагали люди. Они не знали, что начавшуюся войну назовут впоследствии Мировой и Антон Аристархович увидит сына лишь в 1924 году.

Шашков только-только закончит тогда чекистскую школу, а Дима Одинцов уедет из Дрездена в Москву. Уедет, как Вальтер Гиллебранд, будто в гости к русскому дяде. Мать свою Дима не увидит больше никогда. Елена Станиславна умрет от сыпного тифа в двадцатом...

Пужинав, они пили чай.

– Известно, – сказал Одинцов, – что в зоне действия вашей армии оккупанты создают лжепартизанские отряды. Они доставят вам хлопот, Александр Георгиевич.

– Это точно, – согласился начальник Особого отдела. – Правда, пока мы с ними не сталкивались. Сами гитлеровцы досаждают – постоянно просачиваются в тыл. Вот и сегодняшний «язык» из таких же.

– Сообщил что-нибудь интересное?

– Немцы подтягивают резервы. Под Любань прибыл целый корпус.

– Это хорошо, – оживился Одинцов. – Значит, противник всерьез зашевелился... Ваше наступление переполошило немцев.

– Что хорошего? – возразил Шашков. – Трудно воюем. Мало снарядов, автоматического оружия, совсем нет истребительной авиации, в воздухе немцы начисто обнагтели. А до Ленинграда идти еще порядком.

– Вы уже облегчили положение города, – сказал Дмитрий Антонович. – Был я там недавно...

Он не договорил, замолчал.

– Брат у меня в Ленинграде, Николай, – тихо произнес Александр Георгиевич. – Поди, и не знает, что иду на выручку к нему.

– Узнает, когда ваш фронт соединится с Ленинградским... А фальшивые партизаны скоро дадут о себе знать.

– Мы кое-что наметили против них, – сказал Шашков.

– Это хорошо, – отозвался гость. – Надо бы еще спецподразделения создать. Из особо лихих ребят. Пусть рыщут по лесам, проверяют этих самых «партизан», берут их на себя... И потом – возникнет вдруг необходимость, я сообщу вам, и отряд выйдет в указанное место для проведения акции или поддержки ее.

– Роты хватит? – спросил Александр Георгиевич. – Обозначим ее вот так...

Он начертил на листке бумаги знак «Х».

– Рота «Хер», – улыбнулся Одинцов.

Шашков удивленно взглянул на него.

– Так называлась эта буква в старорусском алфавите. Аз, буки, веи... Хер. Но звать будем эту роту «иксом». Иначе нас не поймут.

– Ладно, – усмехнулся начальник Особого отдела, – «хитрую» роту я организую, давайте подумаем о каналах связи.

– Связь будем осуществлять через группу наших людей, Александр Георгиевич. Они придут сразу после моего перехода туда. Очередности их прибытия я и сам не знаю, а условные знаки, с которыми они явятся, вам известны. Сразу отправляйте их за линию фронта. Как поступать им дальше – это знает каждый из них. Меня же переправите лично вы, Александр Георгиевич.

Шашков кивнул:

– Да, я получил такие указания от начальства.

Александр Георгиевич не стал обнаруживать своего удивления. Обычно для обеспечения перехода к противнику прибывала из Центра специальная группа людей. Начальник Особого отдела обязан был лишь содействовать сохранению секретности мероприятия, по согласованию с разведотделом штаба рекомендовал подходящее место на передовой линии. Остальное его не касалось, всем руководили товарищи из Центра. А здесь доверили ему одному. Даже полковник Рогов, начальник разведотдела, судя по всему, ничего не знает. Что бы это значило? Александр Георгиевич хорошо понимал, что контрразведчик не должен проявлять назойливого любопытства, но эта необычность смущала Шашкова. Может быть, Дмитрий Антонович, или как там его зовут на самом деле, собрался слишком далеко отсюда? Хотя нет, по-видимому, действовать Одинцов будет по соседству. Наш ли это человек, работает ли по линии НКВД

или это разведчик Генштаба? Профессиональное чутье Шашкова подсказывало, что Одинцов из Управления военной разведки... Почему тогда не привлекли к этой акции Рогова? Может быть, потому, что о нем, о Шашкове, вспомнил Фокин? «Хватит ломать голову, – подумал Александр Георгиевич. – Наш или не наш... Дело-то общее... А там все рискуют одинаково...»

Вслух сказал:

– Порядок вашего перехода остается прежний. Обряжаем в мундир гауптмана и доставляем на нейтральную полосу. Там и дождетесь немцев. Вопросов у них к вам не возникнет?

Одинцов засмеялся:

– У меня охранная грамота есть.

Он достал бумажник, вынул из него сложенный вчетверо лоскут шелка и протянул Шашкову. Александр Георгиевич осторожно развернул, глянул на свастику и на орла, расположенных сверху, рассмотрел внимательно подписи и печать, потом прочитал текст:

«Предъявитель сего является сотрудником абверкоманды-104. При переходе через линию фронта он должен быть беспрепятственно проведен к ближайшему представителю 1Ц. Его вооружение и снаряжение должны быть оставлены при нем».

– Могучий документ, – сказал Шашков, возвращая Одинцову шелковый лоскут. – А мне Горбов сказал, что лично вас проверил...

– Так я ему этот документ не показывал, – засмеялся Одинцов. – Он у меня в другом месте находился.

– Вот и сам Горбов, – проговорил начальник Особого отдела. – Легко на помине.

Спросив разрешения, в землянку вошел возбужденный Федор Трофимович. В руках у него были листки бумаги.

– Что случилось? – спросил Шашков.

Горбов покосился на Одинцова.

– Говори, не стесняйся, – поощрил своего заместителя Александр Георгиевич.

– Пленный сообщил... Вот!

И Федор Трофимович положил листки перед Шашковым.

Начальник Особого отдела быстро пробежал глазами протокол допроса, присвистнул и медленно поднял глаза на глядевшего с интересом Одинцова.

– Дела, – сказал Шашков. – Ефрейтор Гуго Толлер утверждает, будто Гитлер и Франко находятся сейчас в Любани.

23

Александр Георгиевич не знал: сведения Гуго Толлера были верными, но устарели. Гитлер и Франко уже покинули передний край Волховского фронта. Третьего дня специальный поезд вернулся в Сиверский, где располагался штаб Восемнадцатой армии, и, не задерживаясь здесь, отправился в Плескау – так захватчики теперь именовали древний русский город Псков.

Гитлера утомила поездка, вообще-то ему нравилось выезжать к переднему краю. Гитлер считал, что таким образом он держит руку на непрестанно меняющемся пульсе войны, а главное, не дает генералам ввести себя в заблуждение по поводу истинного положения вещей.

Гитлера знобило, он кутался в песцовую шубу, подаренную ему Квислингом, и вяло отвечал на попытки Франко затеять подобие светской беседы. Фюрер не любил каудильо, испанский диктатор был неприятен ему как личность. Но теперь он находился здесь, на Восточном фронте, в качестве высокого гостя, и приходилось скрепя сердце выносить его общество, делать вид, что помимо политических и военных целей их связывают и дружеские чувства.

Досадуя на собственную неосторожность, которая привела к простуде, Гитлер вспомнил о том, что косвенно в этом виноват Франко, и раздражение его усилилось. Когда они прибыли на позиции испанской пехотной дивизии под Любанью, ее командир генерал Аугустино Муньос

Грандес открыто стал жаловаться на сильные морозы, к ним не привыкли его солдаты. Франко не оборвал наглого испанца, это пришлось сделать фон Кюхлеру, сопровождавшему их. И тогда он, Гитлер, вышел из штаба с непокрытой головой и шел до машин, стоявших довольно далеко, демонстрируя пренебрежение к русскому генералу Морозу. Мальчишество, конечно, только досадили ему эти проклятые испанцы. Фон Кюхлер жалуется – и вояки они плохие. Видно, придется снять их с опасных участков, оставить за этими голубыми охранные функции.

Франко дуется – почему его дивизию направили в группу армий «Север», испанцам было бы легче воевать в Крыму или на Украине. Пусть дуется. Если б не уговоры Канариса, он, фюрер, вообще ввел бы войска за Пиренеи. Но эта хитрая лиса Канарис считает, что Испания им выгоднее как невоюющее государство. Конечно, нейтралитет у каудильо липовый, но устраивает он и англичан, и Германию. Только было бы лучше заставить его воевать. И не только символически, как происходит это на Волховском фронте.

...Гитлер вспомнил неприятную для него осень 1940 года, когда его главный союзник – дуче – накуролесил на Балканах и плачевным исходом своей греческой авантюры поставил под серьезную угрозу политическую репутацию стран. Несмотря на поражение Франции в июне 1940 года, общее стратегическое положение Третьего рейха и его союзников было незавидным. Воздушная война над Туманным Альбионом себя не оправдала, итальянцы бездействовали в Северной Африке, а теперь вот увязли в Греции... Гитлеру успели донести, что его «лучший друг и старый учитель» Бенито Муссолини на вопрос начальника Генерального штаба итальянской армии маршала Бадольо, знает ли союзная Германия о затеваемой военной операции на Балканах, не сдержавшись, закричал: «А нам сообщили об операции в Норвегии? У нас спросили перед тем, как начать наступление на Западе? Нет, они действовали так, будто мы не существуем. Теперь я плачу той же монетой...»

Потом Гитлер вновь поступит с Муссолини как прежде: поставит его в известность об операции «Барбаросса» лишь за сутки до начала войны с Советским Союзом, дуче будет торжественно приветствовать крестовый поход фюрера против большевиков и предложит в качестве помощи сорокатысячный экспедиционный корпус. Но вечером того же дня Бенито Муссолини скажет своей жене Рахель: «Фюрер все же рискнул, полез в берлогу русского медведя. Это означает, дорогая, что наша война проиграна...»

А пока Гитлер, что называется, рвал и метал, следя за тем, как увязает Муссолини в Греции. Фюрер понимал, что неудача итальянцев вызовет тяжелые психологические последствия. Едва начались неудачные для Италии военные действия на стыке границ Греции, Албании и Югославии, как последняя выразила неудовольствие случившимся и стала быстро смещаться в политическом отношении в лагерь противника. Начала опасаться за свою судьбу Турция. Болгария резко откачнулась от коалиции ОСИ и уже не испытывает желания присоединиться к их пакту. Пошатнулся сам миф о непобедимости союза фашистских государств, а престиж Англии, вступившейся за Грецию, резко возрос.

Но больше всего обеспокоил Гитлера визит русского наркома иностранных дел в Берлин. Молотов, который прибыл туда 12 ноября 1940 года, держался сухо и настороженно. Попытка фюрера всячески отвлечь внимание советского дипломата к возможному расширению интересов русских на востоке явно не удалась. Молотова больше интересовал балканский вопрос, чем намеки Гитлера на предстоящий дележ бывших колониальных владений Великобритании в Индии и на Ближнем Востоке. Молотов недвусмысленно дал понять, что русские не считают для себя желательным присутствие Германии на Балканах, и скептически отнесся к заверениям фюрера, будто Германия вошла в этот район только в связи с расширением военных действий, а вот в мирное время Третий рейх будет иметь здесь исключительно мирные интересы.

С Болгарией, заявил также Молотов, русские хотели бы заключить договор о взаимопомощи. Что касается Турции, то соглашение с нею о Дарданеллах Советский Союз может заклю-

чить без посредничества третьих лиц. И мы, сказал советский нарком, встревожены также действиями вашего союзника в Греции...

Позиция Молотова серьезно обеспокоила фюрера, и 20 ноября 1940 года он обратился к Муссолини с обстоятельным письмом довольно мрачного содержания. Анализируя сложившуюся обстановку, Гитлер обосновывал необходимость целого ряда срочных политических и военных действий. Он считал, что союзниками недопустимо потеряно несколько месяцев и «...поэтому, – писал фюрер, – Испанию следует немедленно склонить к вступлению в войну». Он устанавливал для этого шестинедельный срок – 10 января 1941 года каудильо должен был, оставив все сомнения и неприкрытое желание отсидеться, напасть на англичан в Гибралтаре и закрыть Средиземное море.

Гитлер судорожно вздохнул, косо взглянул на Франко. Каудильо пил сейчас подогретый апельсиновый сок, едва не утопив крючковатый нос в хрустальном бокале.

Фюрер почувствовал физическое отвращение и медленно отвернулся, чтобы скрыть его. Каудильо ничего не заметил. Он неуютно чувствовал себя в России, особенно в этой самой Любани, где умирают его мальчики... Но что поделаешь? Он должен был послать «Голубую дивизию» в эту варварскую страну, чтоб отблагодарить Германию за помощь в борьбе против красных. Хорошо хоть отделался только этим и не дал втянуть себя в общую свалку...

Франко испытал прилив гордости при мысли о том, что сумел устоять против давления со стороны этого страшного человека. «Человека ли? – мысленно усмехнулся каудильо. – Стоит мне войти в помещение, где находится он, как мои ноздри начинают ощущать запах серы...»

Ему показалось, что действительно слышит этот запах. Франко поднес пальцы к носу и незаметно потер его.

«Как он похож на еврея! – подумал Гитлер. – Выродившаяся раса... Присутствие в ней крови мавров и иудеев незамедлило сказаться через века. На какие компромиссы со своими убеждениями приходится идти, чтобы выполнить главный долг – достойно возвеличить народ, к которому принадлежишь...»

Когда он писал Муссолини о Гибралтаре, то не забыл упомянуть о необходимости перебросить войска в Испанское Марокко, чтобы не дать англичанам занять французские колонии в Северной Африке, откуда их авиация может угрожать собственно Италии. А если Геркулесовы столбы будут в руках союзников, то английские корабли будут вынуждены действовать вокруг мыса Доброй Надежды, и это облегчит положение итальянцев в Египте и Восточной части Средиземного моря.

Так все хорошо он задумал и рассчитал... И не его, фюрера, вина в том, что этот... Тут Гитлер запнулся в своих размышлениях, пытаясь найти слово покрепче, дабы наградить им своего «высокого гостя», только ничего подходящего на ум не приходило, и каудильо избежал на этот раз нелестного для него эпитета.

Испания занимала важное место в стратегических планах Гитлера. И все, казалось, складывалось удачно. Еще в августе пиренейская держава находилась под впечатлением разгрома соседней Франции и перешла от состояния нейтралитета в разряд невоюющей страны. До союзнических отношений со странами «оси» оставался один шаг... И вдруг Франко неожиданно протрезвел. И если Гитлер роковым для себя образом переоценивал военные возможности Италии и надеялся, что Муссолини обойдется на ливийско-египетском фронте собственными силами, то каудильо отдавал себе отчет в том, какая участь ожидает Испанию, ежели она попытается сбросить англичан со скалы Гибралтар в море.

И Франко не поддавался, мягко говоря, уговорам Гитлера и его римского партнера. Он понимал, как важно уцелеть в этой войне, и сумел противостоять нажиму двух могущественных держав, на штыках которых он еще недавно так трудно карабкался к власти.

Ворота в Средиземное море запереть не удалось. Под прикрытием крепости в Гибралтаре англичане беспрепятственно входили и выходили, наращивая удары по итальянцам в Северной Африке, Египте, а потом и в Греции.

Муссолини терпел поражение. Его надо было спасать. И Гитлер ушел с головой в балканские дела, продолжая тем не менее готовиться к войне против Советской России согласно плану «Барбаросса». Гитлер стремился также использовать напряженные отношения Румынии и СССР как повод к укреплению военных позиций. Он стремился опереться на любые возможности, которые облегчили ему начало запланированной войны против русских.

В зиму 1940/41 года на Балканах сложилась весьма непростая обстановка. Англичане, встревоженные активностью итальянцев, а затем и нацистов, всерьез задумывались о создании балканского фронта, на котором Югославия, Греция и Турция отвергли всякую помощь извне, объявив, что будут защищаться только от непосредственного нападения.

Греция пока успешно сражалась против Муссолини, но было ясно, что, если к дуче придет на помощь фюрер, дни греческого государства будут сочтены.

Оставалась Югославия. В этой стране считали мощь Германии настолько значительной, что ее не сможет компенсировать никакая помощь со стороны Англии. Оказавшиеся между двух огней, югославы вынуждены были соблюдать величайшую осторожность. Обстановка крайне накалилась, когда Болгария 1 марта 1941 года присоединилась к союзу трех держав, а на следующий день позволила гитлеровским войскам переправиться через Дунай. Дивизии вермахта, как было официально сообщено, должны были «выступить против английских замыслов расширения войны на Балканах и защитить болгарские интересы». Оказавшаяся во враждебном кольце – на севере и востоке немецкие войска, на юге воюющая с Италией Греция, – Югославия 25 марта подписала в Вене соглашение о присоединении к фашистскому пакту...

Гитлер потирал руки, но довольство его было недолгим. В ночь с 26 на 27 марта в Белграде произошел государственный переворот, осуществленный генералом Симовичем, который враждебно относился к Германии и союзу с ней и одновременно боялся войны с Третьим рейхом. Нерешительность и слабоволие Симовича – примерно такими же оказались и члены нового правительства – не позволили приободрившемуся Черчиллю разыграть свою карту на Балканах и в этот раз. Его попытки снова увлечь Турцию к общей борьбе с Гитлером, его указания министру иностранных дел Адену и генералу Диллу – оба они находились в то время в Афинах – установить контакты с Анкарой и Белградом к успеху не привели.

Черчилль лично обратился к генералу Симовичу, призывая его выступить на Албанию, что позволит Югославии занять выгодное положение в неизбежной, по мнению английского премьера, войне против фашистской Германии.

Генерал Симович колебался.

Ни Черчилль, ни Симович не знали, что судьба Югославии была уже решена. Еще в конце того дня, когда был совершен переворот в Белграде, Гитлер собрал совещание главнокомандующих сухопутными и военно-воздушными силами и начальников их штабов. В этот час он принял молниеносное решение, которое тут же изложил с присущим его характеру темпераментом. «Да, – сказал тогда фюрер, – югославы попытались нанести нам удар в спину... даром им это славянское коварство не пройдет. Пусть официально они не расторгли соглашения, заключенное в Вене, пусть! Отныне мы должны рассматривать это государство как враждебное рейху, даже если оно заявит о своих симпатиях к Германии. Это искусственное объединение южных славян должно перестать существовать! Военные действия, которые я собираюсь начать в Греции в начале апреля, будут перенесены и на Югославию тоже...»

И тут вдруг Гитлер, который мрачно наблюдал, как за окном быстро сгущаются январские сумерки, и вовсе не думал о событиях весны прошлого года, с облегчением понял, что питает его отвращение к Франко, сидящему сейчас вот здесь в салоне специального поезда, идущего по заснеженным равнинам России.

«Это он – главный виновник моих неприятностей в проклятой стране большевиков, – подумал Гитлер, и сознание его прояснилось, фюрер явственно увидел себя на том совещании 27 марта 1941 года, которое он открыл весьма неприятным для него известием о переносе срока операции «Барбаросса» на пять недель. – Если бы он дал мне возможность закрыть Гибралтар, англичанам было бы не до Балкан... И эти ублюдки не воротили бы носа от союза со мной, не оглядывались на возможную помощь Черчилля. Тогда мне не пришлось бы отвлекать силы на Югославию, войска успели бы полностью сосредоточиться и перегруппироваться на русской границе и началось бы все, как было намечено, 15 мая, а не 22 июня... Пять недель! Пять недель я потерял из-за этого недоноска... И все выглядело бы иначе, если б дивизии группы армий «Центр» подошли к Москве в августе, а не в октябре!»

Гитлер стиснул зубы, но усилием воли заставил себя расслабиться. Фюрер разобрался в причинах плохого настроения, и в том, что теперь ему прояснилась первопричина некоторых его неудач на Востоке, был определенный смысл.

«Мудр не тот, кто не совершает ошибок, – едва ли мысленно не улыбаясь, подумал фюрер, – а тот, кто сумеет не повторить их... В любом случае этот пиренейский «вождь» находится в моих руках. И при случае...»

Он не стал додумывать свою мысль и резко поднялся. Песцовая шуба упала на устланный ковром пол. Гитлер подошел к окну и принялся глядеть сквозь пуленепробиваемое стекло. Петербург лежал за его спиной, но Гитлеру казалось, будто он различает идеально распланированные кварталы ненавистного ему города.

Франко поднялся из-за стола и осторожно приблизился к Гитлеру.

Вошел адъютант и сообщил: поезд приближается к Плескау.

– Мой фюрер, – проговорил каудильо, – я бесконечно горжусь нашим совместным путешествием в эту поверженную доблестными солдатами вермахта страну. И мой народ...

Он хотел сказать нечто возвышенное о военном содружестве испанского и немецкого народов, но в выражении лица Гитлера вдруг проявилось такое, что Франко запнулся, оборвал фразу.

Гитлер думал об отчаянном сопротивлении русских под Петербургом осенью прошлого года, о новом фронте генерала Мерецкова, который досаждал ему своей фанатичной устремленностью к поставленной цели. Он вспомнил, что сообщает разведка о чудовищном голоде в Петербурге, о том, что в этом промерзшем насквозь городе продолжают производить снаряды и танки... В душе Гитлера шевельнулось чувство удивления стойкостью этих людей, он даже испытал легкий укол зависти, подумав о крепости духа жителей Петербурга... Но все эти нормальные нравственные конструкции были тотчас же погребены под лавиной нечеловеческой ненависти Гитлера ко всему, что объединялось в его сознании словом «Петербург».

– Если они не перестанут сопротивляться, я применю газы, – тихо, едва ли не шепотом, проговорил Гитлер, не отворачиваясь от окна.

Франко вздрогнул и испуганно посмотрел на него.

24

Как Дмитрий Одинцов он перестал существовать.

С того времени, когда начальник Особого отдела Второй Ударной армии доставил его на ничейную землю и отправился в обратный путь, пожелав разведчику удачи, интендантский капитан исчез. Его место в этом мире занял Вальтер Гиллебранд, сын известного архитектора

из Дрездена, штурмбаннфюрер СС, официальный эксперт специального управления РСХА, которое занималось изъятием на оккупированных территориях художественных ценностей и произведений искусства.

И мало кто знал, что этот довольно известный в Европе знаток истории архитектуры числится еще и по разряду тщательно законспирированных тайных агентов Третьего рейха.

Стал Одинцов тайным агентом по заданию советской разведки.

Положение Одинцова, или Вальтера Гиллебранда, – пока он находится на той стороне, лучше называть его так, – в системе тайных служб нацистской Германии было своеобразным. Его эсэсовское звание, должность эксперта РСХА, довольно энергичная деятельность в этой ипостаси были всего лишь «крышей», хотя как искусствовед и историк архитектуры Вальтер Гиллебранд считался серьезным ученым. Правда, с началом Мировой войны его научные связи с коллегами из других европейских и заокеанских стран, естественно, оборвались, но зато специальные знания Гиллебранда весьма ценили нацистские бонзы, и в первую очередь Герман Геринг, который относился к Вальтеру приятельски и даже был с ним на «ты», считал его другом дома, или, точнее, домов, наполненных шедеврами из ограбленных музеев и картинных галерей оккупированных государств, алчность шефа люфтваффе Геринга была общеизвестна.

А разведчиком Гиллебранд был абверовским, о чем Герман Геринг, разумеется, не подозревал. В абверовском обличье Вальтера тоже была некая особенность. После 1933 года он был направлен в военную разведку как ветеран движения. Гиллебранд вступил в НСДАП – национал-социалистическую германскую рабочую партию – еще студентом Дрезденского университета в 1928 году. Это означало, что нацистская партия укрепляет военную разведку проверенными кадрами. И хотя Вальтер после особой подготовки и выучки был, как говорится, со всеми потрохами передан ведомству адмирала Канариса, и сам шеф, и другие высшие чины абвера, разумеется, помнили, откуда пришел к ним этот искусствовед.

Как советский разведчик Дмитрий Одинцов был известен только начальнику своего управления и шефу того отдела, который его опекал, поддерживая с ним связь, под именем Стрибога, языческого бога древних славян. У немцев Вальтер Гиллебранд получил куда более скромный псевдоним: они звали его Шварцем – Черным...

Официально Шварц был придан абверкоманде-104 – в качестве разведывательного органа она обслуживала группу армий «Север», – но подчинялся Вальтер Гиллебранд подполковнику Шиммелью только оперативно. Настоящим его начальством считались начальник Первого управления абвера и сам адмирал.

С руководством абверкоманды-104 и начальником войсковой разведки, полковником Лизонгом, шефом отдела 1Ц в группе армий, Вальтер Гиллебранд согласовывал свои действия и, разумеется, информировал их о планах противника относительно Шестнадцатой и Восемнадцатой армий, противостоящих соединениям Северо-Западного, Ленинградского фронтов и теперь вот нового, Волховского, и Шварц имел возможность самостоятельно решать, что он доведет до сведения армейских разведчиков здесь, на территории, контролируемой частями группы армий «Север», а что доложит в доме № 74/76 на Тирпицуфере, в Берлине.

Вообще, северную группу войск Восточного фронта опекали тайные службы всех мастей, дублируя порой друг друга, перекрывая многослойно агентурными сетями захваченные районы советской земли и территории противника, которые входили в зону военных интересов фельдмаршала фон Дееба, а потом его преемника Кюхлера и обоих командармов.

Разведкой и контрразведкой, а также организацией диверсионных и террористических актов занимались и подразделения абвера, и различные службы РСХА – Главного управления имперской безопасности Министерства внутренних дел, которое действовало под контролем имперского руководителя СС и шефа германской полиции от нацистской партии Генриха Гиммлера. Существовали еще войсковые разведывательные отделы – 1Ц – в штабах армий, корпусов и дивизий. Они вели разведывательную работу и контрразведку против войск про-

тивника на сопредельных территориях и формально не подчинялись абверу, хотя и действовали с ним в тесной связи, опираясь на совместно разработанные планы.

Самостоятельным был и отдел Генерального штаба «Иностранные армии – Восток». Им руководил полковник Гелен. Особыми карательными функциями была наделена ГФП – гехаймфельдполицай – тайная полевая полиция, подчинявшаяся Верховному командованию армии, но постоянно направляемая на деле абверовскими людьми, гехаймфельдполицай и создана была по личной инициативе Вильгельма Канариса.

При всех своих тесных связях и единстве целей все эти службы постоянно конкурировали между собой, стараясь заслуги сотрудников одной из них приписать себе, выставить соперников в невыгодном свете. Процветала практика доносов, перехвата обнаруженной агентуры противника, считалось едва ли не добродетелью для абверовца натянуть нос гестаповцу или работнику СД – зихерхайдтинст – службы безопасности или наоборот.

Справедливости ради надо сказать, что наоборот сделать было проще, ведь IV отдел РСХА – гехаймстатсполицай, или, сокращенно, гестапо, был официально уполномочен партией и государством отвечать за политическую благонадежность сотрудников абвера.

Что же касается СД, то до 1933 года она была тайной разведывательной организацией НСДАП при охранных эсэсовских отрядах. После прихода Гитлера к власти зихерхайдтинст преобразовали в государственную политическую разведку с неограниченными полномочиями, деятельность которой условно именовалась «лебенгебитсарбайт», что означало – работа по отраслям жизни. И это соответствовало истинному положению вещей. Опекой СД была охвачена и внутренняя, и внешнеполитическая жизнь Германии. От населения отдельного городского квартала или маленького поселка, где были блок- и целенляйдеры, официальные представители СД, носившие форму и наделенные эсэсовскими званиями, до вездесущей деятельности в других государствах, где агенты зихерхайдтинст, прикрываясь обличем журналистов и коммерсантов или дипломатическим иммунитетом, вели политический шпионаж, организовывали восстания против законных правительств, разлагали демократические организации, совершали с помощью наемных убийц террористические акты.

До начала войны служба безопасности ограничивалась лишь сбором компрометирующих документов на подлежащих «изъятию» лиц и передачей их для реализации в гестапо. Но перед началом военных действий на Восточном фронте Генеральным штабом Вооруженных сил ОКВ – оберкоммандовермахт – и Главным управлением имперской безопасности – РСХА – было подписано особое соглашение. Согласно этому соглашению каждой армии, действующей против Советского Союза, придавались специальные эйнзатцкоманды и эйнзатцгруппы СД. Они предназначались для массового уничтожения мирного населения на захваченных вермахтом территориях...

Словом, недостатка в органах, ведущих тайную и явную войну против советского народа, не было. Порой их многообразие мешало достижению конечных результатов, но глобальность агентурной работы позволяла брать необходимое количество проведенных акций, да и работа коллег Одинцова – Гиллебранда была высокопрофессиональной. Зачастую Стрибога спасало от неминуемого провала, – а такая возможность, как тень, следует за разведчиком постоянно, – то обстоятельство, что он долгие годы был одним из них. И не только разведчиком абвера высшего класса, но и бывшим партийным функционером.

25

– Я доложил о доставленных вами сведениях, штурмбаннфюрер, в Берлин и фон Кюхлеру, – сказал подполковник Шиммель, отодвинувшись от стола и выпрямляя худую длинную спину. – Он сейчас находится здесь, в Сиверском, инспектирует Линдеманна.

– Как отнесся командующий к новым планам русских? – спросил Вальтер Гиллебранд.

– Весьма обеспокоенно, хотя и с некоторым недоверием. Генерал-полковник считает, что у противника не хватит резервов на столь значительную по замыслам операцию. Честно признаться, я разделяю его точку зрения.

– Выдвигаемые на волховском участке армии русских превосходят в живой силе наши дивизии, которые им противостоят, – осторожно заметил Вальтер-Шварц. – Кроме того, значительно укреплен Северо-Западный фронт генерала Курочкина.

– Это так, – согласился Шиммель, – но, к счастью для нас, это все, чем они пока располагают. По сообщениям моих людей, работающих на той стороне, у русских хроническая нехватка мин и снарядов, и это при том, что пушек у них к началу сорок второго года было в полтора раза больше. В русских соединениях почти нет автоматического оружия.

– И тем не менее Вторая Ударная армия успешно наступает...

– Увы... Хотя мы и знали о готовящемся наступлении, русские застали нас врасплох. Никто не ожидал от них такого яростного напора. Мне сообщают, что солдаты генерала Клыкова дерутся как одержимые. Их не останавливают ни глубокие снега, ни морозы, ни танки, ни даже постоянные удары с воздуха. Не понимаю я их фанатизма, штурмбаннфюрер.

Шиммель называл Вальтера его эсэсовским званием, да и одет сейчас Гиллебранд был соответственно. Начальник абверкоманды-104 знал, что у Шварца есть и обычное армейское звание, какие носили абверовцы, но какое оно, даже Шиммелю было неизвестно, и потому он для удобства называл его просто штурмбаннфюрер. К этому званию, считавшемуся как бы званием военно-партийным, слово «господин» не добавлялось.

– А я был там недавно, герр оберст-лейтенант, – сказал Вальтер, – и в их пресловутом Петербурге тоже. Механизм русского фанатизма, связанного с этим городом, имеет глубокие национальные и исторические корни. Начиная с царствования Петра Великого Россия всегда была государством с двумя столицами. Так было и после большевистского переворота в октябре семнадцатого года. И если красное правительство перебралось вскоре в Москву, Петербург, который они переименовали в Ленинград, по имени их главного идеологического и политического вождя, остался столицей революционного духа, что ли... В этом весь секрет, герр оберст-лейтенант.

– Весьма интересно, штурмбаннфюрер. Впрочем, я и сам мыслил примерно так же, но так четко формулировать свои соображения не приходилось.

– Видите ли, нет ничего опаснее переносить собственные, присущие своему народу традиции и особенности на другую нацию, да еще ежели ты находишься в состоянии войны с нею. У русских все иначе, чем у нас, немцев. Как единая нация они сложились гораздо раньше, когда после татаро-монгольского нашествия выдвинулись московские князья и стали собирать вокруг себя русские земли. Поэтому Москва для русского вообще – символ родины. А для советского русского, для любого коммуниста Ленинград – колыбель революции.

У нас иначе. Мы, объединенные лишь в прошлом веке необыкновенным гением и твердой рукой «железного канцлера», мыслили по-другому. Для баварца символом родины является Мюнхен, для меня, саксонца, – Дрезден. Жители Гамбурга, Любека и других городов, некогда обладавших статусом «вольных», вообще знать не хотят ни о каких столицах. И все вместе мы недолюбливаем, мягко говоря, Берлин, нашу имперскую столицу, ибо этот город напоминает саксонцам, мекленбуржцам, вюртембержцам, баварцам и жителям прочих земель о прусском засилии и диктате.

– Поосторожней, штурмбаннфюрер, – добродушно осклабился Шиммель. – Вам разве неизвестно, что я пруссак?

– Почему же, конечно, известно, я знаю даже, что до начала войны на востоке вы руководили разведывательной школой под Кенигсбергом. Но мы с вами люди особой породы, которые хоть и носили, быть может, в юности нацистскую охотничью шляпу с кисточкой, сейчас для нас основополагающей является жизненная формула Третьего рейха, которую подготовил

своим учением о тотальной войне Людендорф и четко определил наш фюрер: «Один народ – одно государство – один вождь».

Вальтер Гиллебранд эффектно, с некоторым пафосом закончил последнюю фразу и умолк. Воспользовавшись паузой, Шimmel предложил собеседнику рюмку коньяку.

– Благодарю вас, и еще кофе, пожалуйста, – отозвался Шварц. – Русские пьют, как правило, чай. И я соскучился по чашке доброго кофе. Надеюсь, у вас натуральный, господин Шimmel?

– Вы, штурмбаннфюрер, меня обижаете, – сказал начальник абверкоманды-104, вызвал адъютанта и отдал необходимые распоряжения.

И только сейчас Стрибог почувствовал, что окончательно адаптировался, что сейчас он настоящий Шварц, будто и не был еще несколько дней назад интендантом Одинцовым.

Александр Георгиевич Шашков оставил подопечного, Стрибога, на берегу реки, в одном из разрывов линии фронта, между деревнями Червинская Лука и Малая Бронница.

– Это берег реки Тигола, – сказал начальник Особого отдела разведчику. – На всякий случай продвигайтесь вперед, вдоль реки, километра на два-три, чтобы вас свои в плен не взяли, все-таки от наших позиций недалеко. Но и не уходите слишком, можете напороться на посты противника. Не разобравшись, откроют огонь, потом и доказывать будет некому, что вы не верблюд. Они сами появятся, тогда и обнаружите себя.

Дмитрия Одинцова, теперь Вальтера Гиллебранда, нашли солдаты одного из пехотных батальонов, входивших в группу «Кехлинг». Немцы появились в середине дня, когда Вальтер Гиллебранд едва не заоченел, хотя и одет был в русский полушубок – подарок главного чекиста Второй Ударной. Все эти долгие часы Шварц занимался тем, что старался стереть из памяти, запрятать глубже приметы Дмитрия Одинцова, становясь все больше и больше Вальтером Гиллебрандом.

Собственно говоря, он мог особенно и не стараться, ведь немецкие его начальники знали, что их первоклассный агент разыгрывает в тылу русских роль своего двоюродного брата по матери. И Дмитрий Антонович Одинцов существовал на самом деле. Это был надежный и проверенный человек, ради пользы, которую он сможет принести родине, он отказался от своего настоящего имени. Осенью прошлого года, как инженер одного из оборонных заводов, мнимый Одинцов был эвакуирован из Москвы и жил сейчас в Свердловске. Пожелай Вильгельм Канарис или отвечающие за благонадежность его сотрудников гестапо проверить Вальтера Гиллебранда, а такое не исключалось, на Среднем Урале они нашли бы Одинцова, сына Антона Аристарховича и Елены Станиславовны.

Так что какие-то следы жизни на территории русских, многонедельного общения с ними вполне могли сохраниться в поведении Шварца, и это было бы легко объяснимо. Но Вальтер Гиллебранд не хотел рисковать. Он понимал, что лучше не подвергать своих ретивых коллег искушению.

...Немцы шли туда, где в густом ельнике на берегу Тигоды укрывался Вальтер Гиллебранд. Они громко разговаривали и чему-то смеялись.

«Черт побери, – недовольно подумал Шварц – теперь он и думать старался исключительно на немецком языке, – никакой дисциплины. Русские рядом, а они разгуливают, будто в Тиргартене».

Вальтер выждал, когда расстояние между ельником и солдатами сократится до пятидесяти шагов.

– Achtung! – закричал он вдруг, не выходя, впрочем, из укрытия, чтобы какой-нибудь новобранец с перепугу не всадил в него очередь. – Внимание... Здесь находится германский офицер!

Автоматчики перестали галдеть. По команде старшего, им был унтер-фельдфебель Иоахим Буле, они рассыпались цепью и стали окружать то место, откуда послышался голос.

– Не стрелять! – снова крикнул Гиллебранд. – Здесь офицер вермахта...

– Выходите! – держа автомат наготове – от этих русских всего можно ожидать – отозвался Буле. – Вы ранены?

Вместо ответа Вальтер сбросил полушубок и остался в мундире гауптмана, которым наделил его Шашков. Он двинулся из ельника, стараясь шуметь побольше, вышел на открытое пространство и остановился. Буле с нескрываемым удивлением смотрел на него.

– Откуда вы взялись? – спросил унтер-фельдфебель. – Я вас не видел в батальоне... Кто вы и откуда?

– Из Москвы, – сказал, улыбаясь, Вальтер.

Солдаты засмеялись.

– Молчать! – крикнул Иоахим Буле. Удивление его сменилось подозрением. – Предъявите документы!

Гиллебранд шагнул к Буле, на ходу засовывая руку во внутренний карман мундира.

– Стоять! – крикнул унтер-фельдфебель, которому бог знает что почудилось в невинном жесте Шварца. – Руки за голову! Обыщите этого человека...

– Перестаньте валять дурака, фельдфебель, – сказал Вальтер, не пытаясь больше залезть в карман, руки на голову класть он, разумеется, тоже не стал. – Я безоружен, а вас целых два десятка. Свой документ я могу показать только вам. Идите ко мне...

Буле колебался. Этот гауптман, торчащий здесь на довольно крепком морозе в одном мундире, был весьма подозрителен, хотя, с другой стороны...

– Смирно! – пронзительно заорал Гиллебранд. Иоахим и солдаты вздрогнули, вытянулись. – Как говоришь с офицером, болван! Подойти ко мне! Марш!

Буле повиновался, но, идя к офицеру, повернул голову вправо и влево, давая понять солдатам, что командам офицера надо, конечно, подчиняться, а все-таки не хлопайте ушами.

Тем временем Вальтер достал документ, который показывал Александру Георгиевичу, и сунул под нос унтер-фельдфебелю.

– Теперь понятно? – спросил Шварц, складывая свой мандат и пряча в карман.

– Так точно, господин гауптман! – ответил Буле и прибавил: – Прошу извинить – рядом передний край, бывает, просачиваются русские.

– Неужели я похож на русского? – засмеялся Вальтер.

– Никак нет, господин гауптман...

Буле ухитрился при этом подумать, что раз он идет с той стороны, то просто обязан быть похожим на русского, но тут же мысленно оборвал себя, не твое, мол, это дело.

– Чем вы занимаетесь здесь? – спросил Гиллебранд.

– Патрулируем открытый участок, – ответил унтер-фельдфебель. – На случай появления здесь русских.

– И при этом рассказываете анекдоты? Хохот ваших солдат, фельдфебель, слышен, наверное, в Малой Вишере... Выделите мне для сопровождения двух солдат! Пусть доставят к командиру полка... И прикажите подобрать мой полушубок. Он там, где я ждал вас.

Из штаба полка Вальтера отвезли в дивизию, где он смог связаться с Сиверским. Ему сообщили, что его выехал встретить капитан Людвиг Шот, начальник абвергруппы-112, она располагалась в деревне Казево, в четырех километрах от штаба генерала Линдемманна, недавно принявшего вместо фон Кюхлера Восемнадцатую армию.

– Пока не увижу подполковника Шиммеля – никаких встреч, никакой информации, – заявил он капитану Шоту. – Надеюсь, вы не успели доложить командующему о моем появлении с той стороны?

– Разумеется, нет, – обиженно проговорил начальник абвергруппы-112, снимая пенсне и подслеповато шурясь на Гиллебранда. – Ведь я не подчинен Линдемманну, а придан его армии. Что же касается вас, Гиллебранд, то вами вообще управляют издалека, ваше право не пророчить здесь, в этом пекле, ни слова, а лететь с докладом прямо в Берлин. Но мне представляется целесообразным поставить командующего армией в известность по поводу тех каверз, которые затевают русские против его дивизий. Если, конечно, вы располагаете...

– Я многим располагаю, капитан, – прервал его Вальтер – Но... Словом, подождем Шиммеля.

Гиллебранд резонно считал необходимым говорить только с фон Кюхлером. Командующий группой армий «Север» имел непосредственный выход в Ставку фюрера, он мог связаться и с самим Гитлером. К чему тогда промежуточные инстанции вроде Линдемманна?

– ...Сомневаться в серьезности намерения русских, – сказал Гиллебранд. – Да нет никаких оснований сомневаться в этом.

– Вы так считаете, штурмбаннфюрер? – спросил фон Кюхлер.

Он знал, как яростно атакуют позиции обеих его армий русские, в ряде мест они прорвали оборону и успешно продвигаются вперед. Положение становилось угрожающим. Зимний штурм Петербурга приходилось откладывать на неопределенный срок, теперь не до того... Особенно беспокоила командующего Вторая Ударная армия. Если не удастся остановить ее наступление, прямо нацеленное на Петербург, придется просить у фюрера резервы. Но что затеали русские южнее озера Ильмень? Активность их в этом районе, у Старой Руссы и Демянска, постоянно нарастает... Что расскажет ему этот разведчик в эсэсовской форме, только что вернувшийся из логова красных?

– Вы помните, экселенц, как дрались русские у стен Петербурга осенью прошлого года? – сказал Гиллебранд. – Должен признать, что энтузиазм их несколько не оскудел за эти недели. Я был в этом городе недавно, экселенц... Да, там можно увидеть на улицах трупы людей, умерших от голода. Русские медики называют это формой И – голодный безбелковый отек, смерть при этом наступает внезапно...

Был я и в частях Второй Ударной армии генерала Клыкова, которая рвется сейчас к Петербургу. И среди жителей города я не обнаружил никаких следов паники или смятения. А солдаты Второй Ударной, кстати говоря, довольно плохо снабженные продовольствием и боеприпасами, будто одержимые, дерутся с отборными нашими дивизиями, осмысленно дерутся, ибо каждый из них знает, что воюет за освобождение города-символа. Их комиссары всерьез распропагандировали солдат, закрепляя в сознании убеждение, что любой снаряд, выпущенный нами по Второй Ударной армии, – это снаряд, который не полетел в сторону Ленинграда...

– В чем природа такой жертвенности, штурмбаннфюрер? – спросил фон Кюхлер.

Командующему хотелось добавить, что порой ему становится жутко в этих проклятых лесах и болотах, заваленных снегом и скованных морозом, жутко не от сумасшедшей и дикой природы, а от неких флюидов ненависти, которые источают здесь каждая изба, дерево, любой русский, сама земля и даже небо, оно всегда угрюмо и неприветливо в России, есть ли на нем солнце, нет ли его – все равно...

Но фон Кюхлер промолчал, а Вальтер Гиллебранд пожал плечами и подумал, что главного он командующему еще не сказал, надо ждать, когда тот сам подведет к этому разговор.

– Что вы можете сказать о перспективных планах противника? – спросил фон Кюхлер.

– Тут не нужно гадать, экселенц. Я располагаю проверенными сведениями о намерениях русских. Против группы армий «Север» действуют сейчас три фронта – Ленинградский,

который пытается своей Пятьдесят четвертой армией пробиться к городу извне, Волховский и Северо-Западный. Задача Волховского фронта вполне понятна. Главное для Мерецкова – заставить Восемнадцатую армию отказаться от окружения Петербурга и обойти войска генерала Линдемманна с юга. Четвертая армия соединяется с Пятьдесят четвертой в совместном наступлении на Тосно, и затем они вместе движутся к группе войск противника, прижатой нами у Ораниенбаума. Пятьдесят девятая армия наносит фронтальный удар на Северский и дальше, в направлении Волхова. Вторая Ударная, взломав оборону на линии Спасская Полисть – Мясной Бор – Подберезье, что она уже успела совершить, поворачивает в юго-западном направлении, на Лугу. В это же время Северо-Западный фронт генерала Курочкина силами Одиннадцатой армии наступает восточнее Старой Руссы в южном направлении, атакуя позиции Шестнадцатой армии. Ударом вдоль реки Ловать и через юго-восточную часть озера Ильмень Северо-Западный фронт окажет помощь армиям Мерецкова. Курочкин будет в то же время стремиться установить связь с северными крыльями русских армий, которые в районе Осташкова рвутся на Холм. Этим двойным ударом, который противник нанесет с юга и севера, русские хотят уничтожить два армейских корпуса Шестнадцатой армии между Валдайской возвышенностью и озером Ильмень, если намеченные операции увенчаются успехом...

– Группа армий «Север» перестанет существовать. Вы пришли к такому выводу, штурмбаннфюрер? – спросил фон Кюхлер.

– Делать выводы – ваша прерогатива, экселенц, – позволил себе усмехнуться Вальтер.

– Не скромничайте, – проворчал командующий. – Ваша информация бесценна и заслуживает высокой награды. Я сам позабочусь о ней...

– Прошу вас, экселенц, ничего не предпринимать, – встревожился Вальтер. – Видите ли, эта беседа наша... как бы вам сказать... носит приватный, что ли, характер. В первую очередь я должен был проинформировать берлинское начальство. Но я прежде всего солдат, экселенц, солдат Германии. И посчитал нужным поделиться своими опасениями с вами, человеком, который решает судьбу рейха здесь, на этом ответственный и труднейшем участке Восточного фронта, я хотел...

– Остановитесь, штурмбаннфюрер, – поднял руку фон Кюхлер. – Понял вас. Никто о нашем разговоре не узнает. Лишь одно соображение... Я немедленно докладываю в Ставку фюрера о полученных от вас сведениях и требую необходимые резервы. Придется провести передислокацию и снять какие-то соединения из-под Петербурга, дивизии русских в городе истощены и обескровлены, они нам сейчас не опасны. А вот те, кто идет с востока...

«Клюнул! – пронеслось в сознании Гиллебранда. – Клюнули, господин генерал-полковник... Теперь они все всполошатся и забудут на время про Ленинград. Вторая Ударная вызвала огонь на себя... А я сейчас подлил масла в этот огонь. Но что делать? На войне как на войне».

Он вздохнул.

Фон Кюхлер продолжал:

– Естественно, меня спросят об источнике этой стратегической информации. Кстати, штурмбаннфюрер, как вам удалось раздобыть ее? Когда вы расписывали далеко идущие планы русских по разгрому моих войск, я, признаться, думал: присутствовали ли вы на совещании в Кремле?

– Ну что вы, экселенц, – грустно улыбнулся Шварц, – как можно... Ведь если бы разведчики получали такую возможность, то войны не возникали бы вообще. Они начинались и заканчивались бы на картах...

«Редкий случай в истории разведки, – подумал он, – когда истина служит в качестве дезинформации. Что ж, в борьбе с таким врагом хороши все средства...»

«Дьявольская работа у этих людей, – думал тем временем фон Кюхлер, – но если они попадают в точку, один вот такой штурмбаннфюрер, или кто он там есть на самом деле, равно-

ценен армии. Да, обстановка предполагается более серьезная, нежели виделось мне. Необходимы резервы! Придется просить фюрера о личной аудиенции, надо самому лететь в Ставку!»

– А что касается источника, экселенц, – говорил меж тем Гиллебранд, – то сошлитесь на подполковника Шиммеля. В конце концов, он здесь главный представитель Управления абвер-1, на нем лежит задача обеспечения группы армии «Север» разведывательными данными. Вот и будем считать, что начальник абверкоманды-104 обеспечил... Ему и награда по заслугам.

Командующий с нескрываемым интересом посмотрел на Гиллебранда.

– Странный вы человек, штурмбаннфюрер, – сказал он и принялся протирать монокль.

– Фридрих Ницше, экселенц, говорит, что человек был поначалу верблюдом и носил тяжести. Потом стал львом и, наконец, сделался ребенком. Наш фюрер учит всех нас, как превратиться во взрослого человека. Что же касается меня, то я – подросток накануне конфирмации.

– Вы католик? – спросил фон Кюхлер.

– По отцу, экселенц. Мать исповедовала православие. А я член НСДАП...

– Позвольте, – воскликнул командующий, – но православие...

– Исповедуют русские, – спокойно проговорил Гиллебранд. – И еще греки, болгары, южные славяне и ряд кавказских народов.

– Значит, ваша мать...

– Русская, – подтвердил Вальтер и улыбнулся: – Может быть, поэтому я показался вам странным, экселенц?

Фон Кюхлер не успел ответить.

Открылась дверь, заглянул адъютант, попросил извинить его.

– Для господина командующего сообщение особой важности! – срывающимся голосом произнес он.

– Давайте, – коротко бросил генерал-полковник и протянул руку.

Пока он читал, адъютант стоял, вытянувшись рядом, искоса поглядывая на штурмбаннфюрера.

– Идите, – сипло проговорил фон Кюхлер, голос у него сорвался, и командующий закашлялся. – Идите прочь!

Адъютант сорвался с места и исчез.

Фон Кюхлер снова углубился в чтение, потом отвел глаза, достал было монокль, повертел в пальцах, будто недоумевая, что это такое у него в руке, раздраженным жестом сунул монокль обратно, поднялся и стал ходить по кабинету.

Потом подошел вплотную к Гиллебранду, который встал, едва поднялся со стула генерал-полковник.

– Знакомы вы со Сталиным или нет, не знаю, – сказал он. – Только вы дьявольски осведомленный человек, штурмбаннфюрер. И ваши мрачные пророчества начинают сбываться... Это сообщение генерала Буша. Крупные силы русских, именно те, которые наступали в южном направлении от Старой Руссы, прорвали оборону и, не встречая достойного сопротивления частей Шестнадцатой армии, вышли к нам в тыл западнее долины реки Ловать. Навстречу им устремились русские дивизии, продвигавшиеся из района города Холм на север. И вот сегодня, восьмого февраля, противник окружил возле Демянска шесть дивизий и две бригады Второго и Десятого армейских корпусов... Сто тысяч солдат и офицеров вермахта попали в «котел», штурмбаннфюрер! Сто тысяч! Что я теперь скажу фюреру, мой бог...

К началу февраля тяжелые бои на всех участках территории, которую Вторая Ударная армия освободила от захватчиков, еще более ожесточились. Кавалерийский корпус Гусева, в который входили 87-я и 25-я кавалерийские дивизии, находившиеся до того в резерве Мерецкова, и 111-я стрелковая дивизия полковника Рогинского, войдя в прорыв у Мясного Бора, стали стремительно продвигаться в северо-западном направлении, охватывая с юго-запада чудовскую группировку немцев. Конники Гусева шли на Ольховку и Финев Дуг.

Противник в спешном порядке ставил на пути кавалеристов заслоны, но пока их относительно легко сбивали, и за пять дней корпус продвинулся на 45 километров от Мясного Бора.

Сразу наметилась определенная закономерность в поведении обороняющихся немцев. Когда кавалерийский корпус, а также идущие на острие главного удара 327-я дивизия Антюфеева и 59-я стрелковая бригада продвигались на север и северо-запад, все шло относительно нормально. Немцы оказывали сопротивление, только его хотя и с трудом, но преодолевал яростный и неудержимый авангард Второй Ударной. Стоило же атакующим взять правее, попытаться приблизиться к Октябрьской железной дороге и начать двигаться в этом направлении, как сопротивление гитлеровцев резко возросло. Создавалось впечатление, будто противник стремится выжать армию генерала Клыкова на малонаселенные территории, покрытые гиблыми болотами, лишенные транспортных магистралей. Вскоре русские полностью овладели железной дорогой Новгород – Ленинград на участке село Гора – станция Еглино. Но беда для наступающих была в том, что эта дорога вела в никуда.

На юге был занятый врагом Новгород, на Севере – блокированный Ленинград. До следующей дороги, лежащей западней ведущей из Ленинграда в Сольцы, добраться пока не успели, да это ничего бы не дало – концы ее опять-таки вели к врагу, вот если бы взять Любань и окружить немцев в Чудове... И бесформенный мешок, каким представлялась освобожденная Второй Ударной земля, стал выбрасывать отросток на северо-восток, в сторону Любани.

Надо сказать, что никакой нарочитости в том, что противник слабее сопротивлялся в стороне от Октябрьской дороги, не было. Попросту немцы не держали там сплошной линии обороны и, захваченные врасплох, отдавали, конечно, не без боя, укрепленные пункты. В то же время, чем более расширяла армия боевые действия, тем больше увеличивалась линия ее фронта, создавая дополнительные трудности. Когда началось наступление 13 января 1942 года, перед Второй Ударной армией находился участок в 20–26 километров шириной. После прорыва обороны немцев линия фронта растянулась до двухсот... Конечно, армию тут же, едва наметился успех в ее наступлении, командование фронта принялось укреплять за счет соседей, но двести километров кольцевой передней линии – это не шутка, и тогда начались проколы в организации управления войсками.

Наступил февраль. В первый же день месяца на рассвете выдвинутые вперед разъезды 87-й кавалерийской дивизии ткнулись в укрепленный пункт Ручьи. За Ручьями лежал Апраксин Бор, потом Вороний Остров, а там уж рукой подать до Любани.

Но конники немного опоздали. Воздушная разведка противника засекла движение дивизии полковника Трантина, и немцы спешным порядком бросили сюда резервы, подтащили артиллерию и танки, лихорадочно спеша создать линию обороны; она должна была связать Кривино, Ручьи и Червинскую Луку.

Нужно было подавить ее артогнем. Но конники слишком вырвались вперед, артиллерия отстала, да и припасов для хорошего удара не было, увы... На внезапность атаки рассчитывать тоже не приходилось. Оставались решительность и дерзость. Иногда они помогали. Комэска Меньпенин любил, например, ударять по флангам. Он решил обойти деревню Ручьи с востока, увлекся, зашел к немцам в тыл и попал между молотом и наковальней. Позади у

него гарнизон Ручьев, а впереди резервные батальоны, что шли на помощь немцам со стороны Любани. Деваться было некуда. И тогда Меньшенин развернул эскадрон и ударил по тем, кто, ничего не подозревая, шел на помощь ручьевскому гарнизону. Решив, что Ручьи захвачены русскими, гитлеровцы в панике метнулись обратно. Комэска снова развернул своих ребят на сто восемьдесят градусов и повел в наступление на укрепленный пункт, атаковал его с той стороны, откуда немцы ждали подкрепления...

Во второй день февраля на помощь конникам стали подходить стрелковые бригады – 53, 57, 59-я... За ними двигалась 191-я стрелковая дивизия полковника Старунина. На правый фланг этих соединений, к Сенной Керести, выходила 4-я гвардейская дивизия генерал-майора Андреева.

Через горловину Мясного Бора в прорыв втягивались все новые и новые части.

Генерал-лейтенант Клыков уже не раз и не два сетовал в разговоре с комфронта Мерецковым на возникшие сложности в управлении все разрастающейся Второй Ударной. Дивизии и бригады, говорил Николай Кузьмич, понесли с начала наступления огромные потери и пока не пополнены свежими силами. Как отдельным соединениям, им трудно ввиду обескровленности решать самостоятельные задачи, положенные им по штату. Обстановка меняется ежечасно, и сложность ее все нарастает. Штаб армии не в состоянии обеспечить надежную связь с возросшим числом соединений и все чаще теряет управление ими. Необходимо что-то предпринять.

Генерал армии Мерецков и сам понимал, что происходит. Но Кирилл Афанасьевич знал также, как не любят в Ставке ВГК разговоров об оперативных группах. Выждав несколько дней, командующий Волховским фронтом набрался духу и связался со Ставкой, в обоснование своего предложения о создании временных оперативных групп командующий ссылался на опыт Тихвинской операции. Тихвин в Ставке помнили, и это помогло пробить идею.

Парадоксальность ситуации состояла в том, что рождение оперативных групп было делом сугубо армейским, никаких тут особых разрешений сверху не требовалось. Группы создавались приказом по армии – прерогатива, так сказать, любого командарма. И от Мерецкова требовалось дать Клыкову рекомендацию на этот счет, ограничиться устным распоряжением. Но Кирилл Афанасьевич не забывал об имевшем место прецеденте.

Еще 10 января он говорил по прямому проводу с Верховным. «Хотим создать в Четвертой армии оперативную группу, товарищ Сталин...» – «Опять мудришь, товарищ Мерецков, не можешь уgomониться и воевать спокойно, – с многозначительной интонацией проговорил Верховный. – Зачем дробить Четвертую на две армии? Зачем распылять свои силы? Четвертую надо сохранить как армию во главе с генералом Ивановым. Никакой опергруппы в составе Четвертой армии не нужно, необходима лишь ударная группа, которой должен руководить командарм...»

После такой отповеди Мерецков не решался снова выдвигать свои соображения по Второй Ударной, потом все-таки рискнул и был удивлен той легкостью, с которой Ставка пошла ему навстречу.

Были созданы три группировки, их возглавляли генералы Андреев, Коровников и Привалов. А когда 13-й кавкорпус Гусева и другие подразделения Второй Ударной вышли на линию Сенная Кереть, Ручьи и Червинская Лука, Мерецков понял, что у него появилась возможность разгромить немецкие войска, притянутые в район Чудово – Любани. Достаточно перерезать Октябрьскую железную дорогу северо-западнее станции Чудово – и немцы окажутся отрезанными от главных сил, лишатся путей подвоза боеприпасов и даже не смогут отойти к своим – некуда будет отходить.

Но генерал армии явственно ощущал, как все слабее становятся удары прорвавшихся подразделений. Да, он потребовал от генерала Клыкова уничтожить противника в районе Острова и Спасской Полисти, а затем не позднее 6 февраля стянуть в район Сенной Керести и Ольховки 327, 374, 382 и 4-ю гвардейскую дивизии, чтобы объединенными усилиями ударить

в сторону деревни Пятница, а затем по станции Бабино, которая отстояла от Чудова на 20 километров к Ленинграду. Гусевский корпус получил приказ выйти к Красной Горке, от нее и Любань недалеко...

Конники не подвели Мерецкова. Атакуя с ходу и ошарашивая противника неожиданностью появления, 26-я кавалерийская дивизия подполковника Трофимова на плечах преследуемых немцев захватила село Дубовик и к концу 6 февраля вышла к Большому и Малому Еглино. Конники нанесли удары по южному и северному флангам этих укрепленных пунктов, а сопровождающая их 9-я стрелковая бригада полковника Глазунова атаковала железнодорожную станцию Еглино с фронта.

Эти пункты удалось захватить лишь к утру 10 февраля. Немцы отошли к Верховью, Камерке и Глубочке, создав там такую линию обороны, перед которой эскадроны вынуждены были остановиться и слезть с коней. Время было упущено, стремительность порыва затухала. Чтобы продолжать операцию с тем же размахом и в том же темпе, необходимы были значительные резервы. Их не было. Спешившись, кавалеристы лишились главного преимущества – возможности вести подвижный и маневренный бой. Да и в конном строю они уже изрядно страдали от снежных заносов, досаждала оторванность от тылов – они находились от них за добрую сотню километров, не хватало боеприпасов, продуктов, а главное – фуража. Солдат из топора суп сварит, а вот лошади эрзац предложить нельзя... Давила конников и немецкая авиация, бомбила их боевые порядки, хорошо различимые сверху.

А Мерецков все расширял и расширял кольцевую линию переднего края Второй Ударной. Он по-прежнему верил в обещания Ставки о скором прибытии резервной общевойсковой армии. Кирилл Афанасьевич все поставил на эту карту, но ему не сдали ее из колоды.

Резервной армии Мерецков не дождался. Она не прибыла на Волховский фронт. Не потому, что Ставка не хотела помочь волховчанам. У Ставки попросту не было ее, резервной армии.

28

По-немецки Псков назывался теперь Плескау.

Во всей огромной округе, куда вошла и Псковская земля, захватчики едва ли не всюду сменили названия, и сама эта область была сейчас Ингерманландией, не больше и не меньше. Впрочем, название это не было для Псковщины новым. Еще в 1708 году древний город был приписан к Ингерманландской губернии, образованной Петром Первым. Но в нынешнем ее переименовании заключен был иной, зловещий смысл.

Вальтер Гиллебранд уже несколько дней жил в Плескау, сразу по возвращении приступив к своим обязанностям эксперта-искусствоведа. Разумеется, никто из его коллег по спецкоманде, рыскающих повсюду в поисках художественных ценностей и антиквариата, не подозревал, где находился штурмбаннфюрер все эти недели. Считалось, что Вальтера Гиллебранда отзывали в фатерлянд, где таким, как он, специалистам хватало работы для разбора и оприходования европейских коллекций, награбленных не очень-то понимающими в искусстве эсэсовцами.

Сегодня Шварц первую половину дня провел в Псковском Кремле, где просматривал старинные книги, изъятые гитлеровцами из окрестных храмов и монастырей. Книги были довольно ценные, но из ряда вон выходящих «трофеев» Вальтер не обнаружил. Придется санкционировать отправку всего этого в рейх. В особых ситуациях, когда изъятие угрожало предмету исключительной ценности, Гиллебранду было разрешено Центром принимать меры для спасения национальной реликвии, но сейчас это был не тот случай.

До обеда у Вальтера оставалось немного времени, и он решил размяться после утомительной и малоподвижной работы, побродить по Кремлю. Вальтеру, знавшему бесчисленное

множество городских крепостей, особенно по душе был Псковский Кремль, или, как его еще называли, Детинец, поднявшийся на высоком берегу реки Великой.

На территории Детинца стоял древний Троицкий собор, в котором сохранились иконы старого письма и знаменитый крест святой Ольги-княгини. Для точности надо сказать, что это был не тот крест, какой стоял на берегу реки Великой и сгорел в 1509 году, а хорошо сработанная копия.

Вальтеру по душе была Троицкая церковь. В ней ярко отразились особенности псковской храмовой архитектуры времен Средневековья. Он осмотрел Троицкий собор, отошел на сотню-другую шагов в сторону, постоял несколько минут, любуясь четкими и совершенными пропорциями сооружения. Потом задержался у паперти придельной Гавриловской церкви, где находились гробницы князя Довмонта и святого Николая Юродивого, подумал о том, что пора бы уже прийти вызову из Берлина, но, может быть, решили удовлетвориться его письменным сообщением, кто знает...

Через охраняемые эсэсовцами ворота Гиллебранд вышел на безлюдную площадь. Псков казался вымершим. Его старые улицы, застроенные еще в давние времена, оживляли лишь фигуры солдат и офицеров вермахта да патрули полевой жандармерии с поблескивающими на полуденном солнце металлическими бляхами на груди. Местных жителей почти не было видно. Часть из них эвакуировалась в Ленинград, отступила перед танками Гепнера летом прошлого года. Иные разошлись по окрестным деревням, по родичам или нанялись в работники на эстонские хутора, до которых было рукой подать. То небольшое количество евреев, оставшихся в Пскове, до начала зимы было строго учтено гитлеровской администрацией, им было предписано ходить по улицам с желтой звездой, а в декабре 1941 года их вывезли в лагеря уничтожения. Те из жителей, кто остался в городе, на белый свет старались не вылезать, так было спокойнее. Остальные служили в Красной Армии или скрывались в лесу, стали партизанами. Были и другие, продавшиеся немцам. Эти днем не прятались, они боялись ночи.

Город, в котором находилась резиденция командующего группой армий «Север», был наводнен представителями имперских учреждений, тыловых частей вермахта, полувоенной строительной организации Тодта, чиновниками гражданской администрации и, разумеется, самых различных тайных служб.

До войны в Пскове было более пятидесяти тысяч жителей. В начале 1942 года комендатура не смогла зарегистрировать и четырех тысяч. Сам город немцы постоянно укрепляли как на подступах к нему, так и изнутри. Улицы были перекрыты проволочными заграждениями, надолбами, тайными ловушками. На углах стояли врытые в землю танки, которые могли простреливать город в разных направлениях. Особо важные объекты, вроде штаба фон Кюхлера, были оцеплены проволокой с пропущенным по ней током высокого напряжения, спиралью Бруно и окружены минными полями.

Вальтер на мгновение остановился, не решив, двинуться ему через площадь или обойти ее, держась ближе к левой стороне, где был вполне прилично расчищенный тротуар.

И тут его окликнули.

От ворот шел к Гиллебранду полковник фон Регенау. Шварц видел его у начальника абверкоманды-104, и Шиммель даже знакомил их, но вот чем занимается этот фон Регенау, Вальтеру пока не было известно.

– Судя по времени, – сказал полковник, доброжелательно улыбаясь, – вы направляетесь обедать, штурмбаннфюрер. Если позволите, я предложу вам нечто более достойное, нежели кухня офицерского клуба.

– Мы так мало знакомы, герр оберст, – нерешительно проговорил Гиллебранд. – И я, право...

– Пустяки! – энергично перебил его фон Регенау. – И это говорите вы, старый фронтовик... Без всяких церемоний! И потом, мы ведь с вами коллеги, штурмбаннфюрер. Прошу вас в машину.

«Загадочная птичка устремилась в сети, – мысленно усмехнулся Шварц. – Ей хочется склевать червячка, такого милого и вкусного червячка, а сетки птичка не боится... дай-то ей бог!»

Фон Регенау открыл перед штурмбаннфюрером заднюю дверцу приземистого «Хорьха», а сам сел рядом с шофером, одетым в армейскую форму, в просторном салоне автомобиля сидели еще два человека в гражданском. Они кивнули Гиллебранду, не проронив ни слова, а полковник как будто и не собирался их представлять.

– Потерпите, штурмбаннфюрер, – не поворачиваясь, сказал фон Регенау, будто угадав недоумение Шварца, – тут недалеко. Тогда я вам представлю своих друзей.

«Хорьх» прокатился по мосту, въехал в Завеличье и вскоре затормозил у входа в Спасский Мирожский монастырь.

– Не собираетесь ли вы, герр оберст, постричь нас в монахи? – пошутил Вальтер. – Для меня еще рановато. Я неплохо себя чувствую и в миру.

– Не сомневаюсь, штурмбаннфюрер, – засмеялся фон Регенау. – Нам с вами и нашим спутникам подготовили добрую еду, как дорогим гостям. Сейчас мы потрапезничаем здесь, господа.

Последнюю фразу полковник произнес на русском языке, и Вальтер отметил в говоре фон Регенау мягкое южнорусское «г».

Трапеза в монастыре была выше всех похвал. Едва они вошли в комнату со сводчатым потолком и узкими стрельчатыми окнами, полковник представил штурмбаннфюрера до сих пор не проронившим ни слова приятелям.

– Виктор Путилов, – назвал себя один из них, с достоинством подошел к Вальтеру и пожал ему руку.

– О, – сказал Гиллебранд, – это вы, герр Путилов... Говорят, что бывший ваш завод ежедневно производит для русских тяжелые танки.

– Он никогда не был бывшим, штурмбаннфюрер, – сухо, но дрогнувшим голосом ответил Путилов. – Я еще буду вашим проводником по заводу.

– Не сомневаюсь, – сказал Вальтер и повернулся к молодому, едва больше двадцати пяти, человеку, готовившемуся уже назвать себя.

– Борис Врангель...

– Племянник знаменитого барона, – подсказал полковник, а Врангель не проронил больше ни слова.

«Знатная компания, – подумал Вальтер. – Отпрыск российского заводчика-миллионера и родич последнего главаря белой армии. Недурно... А кто же на самом деле этот фон Регенау? Он русский, это несомненно, но кто?»

Этих двоих Гиллебранд не видел в лицо, но слышать о них ему приходилось. Борис Врангель, родившийся в год Октябрьской революции, действительно был племянником крымского правителя, рвавшего разгромить красную Россию. Подвизался Борис в ведомстве рейхслайтера Альфреда Розенберга, которому фюрер поручил возглавить имперское министерство по делам оккупированных восточных областей. У Врангеля-младшего была в здешних местах крыша, официально он числился служащим торгового общества в городе Остров, которое было призвано снабжать германскую армию продовольствием. Борис Путилов служил в гехайм-фельдполицай, в группе ГФП-501, находящейся в городе Дно.

«Как он связан с ними, фон Регенау? – думал Вальтер, усаживаясь за уставленный изысканными закусками стол. – Только ли как бывший соотечественник, ведь полковник такой же немец, как я южноафриканский бушмен, или их связывают иные интересы?»

Обед меж тем начался. Провозглашались тосты, напитки были отменные, языки скоро развязались. Этому способствовало не только вино, но и то обстоятельство, что прислуживающие за столом двое мужчин в черной одежде, то ли монахи, то ли официанты, подавали, убрали пустую посуду и тут же исчезали, оставляя гостей одних.

– Как вы относитесь к учению Фридриха Ницше? – спрашивал Вальтера Виктор Путилов.

– Я искусствовед, а не философ, – отвечал Гилдебранд, – но мне кажется, что для серьезного ученого, каковыми были Кант, Фихте, Гегель и даже Шопенгауэр, Ницше чересчур эмоционален, его учение скорее результат инстинкта и темперамента, нежели аналитического разума.

– Вот-вот, – оживился Путилов, – в этом он ближе к нам, русским, нежели к рационально мыслящим вашим соотечественникам, штурмбаннфюрер! Ницше намеревался изменить внутреннее содержание нравственных критериев, хотел создать идеал иной культуры, идеал необычного человека, который бы стал носителем этой культуры.

– А его нападки на христианство? – спросил фон Регенау, и Вальтер почувствовал, что тема разговора несколько не занимает полковника, но с нею он знаком и готов поддерживать подобие интеллектуальной светской беседы.

– Это так просто, – вступил в разговор Борис Врангель. – В христианстве Ницше увидел главное зло – призыв к равноправию. Потом оно вылилось в социализм большевистского толка. В прошлом веке русские писатели и философы тоже пытались осовременить христианство, искали Иисуса в каждом отдельном человеке. Достоевский, Соловьев, Леонтьев, Розанов, этот еврей Шестов и порвавший с марксизмом Бердяев... Искали они не там! Истина в сверхчеловеке, которого открыл нам Ницше...

«Неужели они зазвали меня сюда, чтоб дать мне послушать эту бредятину? – усмехнулся про себя Гилдебранд. – Ну, погодите...»

– Насколько я помню, – сказал он, – Ницше утверждает, что история нравственных чувств – это история заблуждения по отношению к ответственности, ибо ответственность имеет своим началом свободу воли. С другой стороны, вера в свободу воли – одно из первоначальных заблуждений организма, в котором начинается логическая работа! Ведь вера в самостоятельные субстанции и им подобные вещи – это первобытное, старое заблуждение всего органического мира. Но тот же детерминист Спиноза, окрещенный, правда, но все-таки иудей, заявляет, что если бы камень, падающий вниз, мог думать, то приписал бы это движение своей воле. Мне по душе размышления Ницше о сверхчеловеке, это соответствует моим партийным убеждениям, ибо мир породил уже того, о ком мечтал Ницше. Я говорю, конечно, о нашем фюрере. И взгляды, постулаты, оставленные Ницше, позволяют нам выстоять в это сложное время, лучшим образом избавиться от нравственных тягот и исполнить свою историческую миссию. Поэтому позвольте, господа, произнести тост, им будут бессмертные слова Ницше: «Никто не ответствен за свои проступки, за свое существование: осуждать – значит быть несправедливым. Это относится и к тому случаю, когда человек себя сам осуждает...» За победу нашего оружия и наших идей!

– Зиг хайль! – крикнул, вскакивая, полковник фон Регенау.

– За дьявольское оружие, которое задушит скоро проклятых скотов! – вторил ему Виктор Путилов.

– Ура! – заорал и тут же смолк, испуганно оглядываясь, Борис Врангель.

Когда после тоста стали закусывать, фон Регенау поднялся и сделал знак рукой Гилдебранду. Вальтер встал из-за стола и пошел следом, успев уловить краем уха, как Врангель спросил Путилова:

– И когда думают начать акцию?

– Когда установятся днем плюсовые температуры и все эти несчастные клопы поползут на улицы...

Полковник вел Гиллебранда длинными и узкими коридорами, дважды они поднимались по каменной винтовой лестнице и, наконец, пришли. Окованную железом дверь фон Регенау открыл двумя ключами. За дверью скрывалась комната без окон. Полковник вошел в темноту, щелкнул зажигалкой и принялся зажигать многочисленные церковные свечи.

– Входите, штурмбаннфюрер, – сказал он, и Вальтер вошел.

Свечи были повсюду, не менее двух десятков зажег фон Регенау. Он подошел к некому предмету у стены, стоявшему на каменном выступе, – свечи в импровизированных канделябрах, укрепленных в стене, обрамляли его – и снял покрывало. Перед ними открылась икона.

Икона была старого письма, это Вальтер определил сразу, и неплохой сохранности. Гиллебранд прикрыл ладонью правый глаз, всмотрелся.

Полковник фон Регенау с некоторым удивлением наблюдал за ним. Потом отступил в сторону и сказал:

– Что скажете, господин Гиллебранд? Не правда ли, ценная вещь?

– Несомненно, – ответил Вальтер, подошел к иконе, наклонился и стал рассматривать ее вблизи, едва ли не водя носом по поверхности. – Святой Николай Чудотворец из церкви, носящей его имя. Как она попала к вам? Мы полагали, что русские успели вывезти ее из Плескау...

– Секрет фирмы, – усмехнулся фон Регенау. – Значит, вы считаете эту работу достаточно примечательной?

– Четырнадцатый век, несомненно, – ответил Вальтер. – Я помню эту икону по каталогам. Автор неизвестен, но по его письму явственно видно, что художник хорошо знал византийское искусство, он передает образ Чудотворца, идя в русле классического стиля. Вместе с тем его Николай очень человечен, существо, наделенное высокой моральной чистотой, олицетворение совести, что ли...

– В вашем нынешнем определении исчезли ницшеанские мотивы, – заметил, улыбаясь, полковник. – Или для разговоров об искусстве у вас иная манера изложения? Вам, я вижу, по душе эта старая доска. Хотите приобрести Чудотворца за наличные?

– Как вас понимать, полковник?

– В буквальном смысле, штурмбаннфюрер. У меня товар, у вас деньги... Или у кого-нибудь из ваших высокопоставленных покровителей-клиентов. Наслышан о них...

– Тем более, – сказал Гиллебранд. – Если кто-либо узнает о Николае, икону просто реквизируют для нужд рейха, вы не с того конца зашли, полковник.

– Думаю, что с того. О Чудотворце никто, кроме вас, не знает. Возникнет опасность изъятия – я растоплю ею камин в своем доме. Вот и все.

– И у вас поднимется рука? Ведь вы же русский, полковник... Христианин!

– Был им. Теперь я, согласно учению Фридриха Ницше, готовлюсь стать сверхчеловеком вслед за нашим любимым фюрером. Так что готовьте деньги. Мне нужны доллары, штурмбаннфюрер.

– Зачем? – быстро спросил Шварц.

– Чтобы использовать их для оплаты своих агентов, действующих на благо Германии, – с явной издевкой произнес фон Регенау. – А что касается моего русского происхождения, так и вы, штурмбаннфюрер, наполовину...

– Да, мать у меня была русской. Этого я никогда не скрывал.

– А вам известно, что евреи считают родство по матери?

– Что вы хотите этим сказать?

– Ничего. Дополнительная информация. Так чем мы кончим этот разговор? Доллары – или эта доска пойдет на растопку.

– Я подумаю. Все так неожиданно...

– Два дня. Найти меня легко, штурмбаннфюрер. Идемте к нашим друзьям. И думаю, что настало время выпить всем на брудершафт.

Вальтер шел следом, возвращаясь к «дружеской трапезе», и думал, что со спасением Николая Чудотворца он как-нибудь справится, но вот о чем говорили Путилов и Врангель, какое дьявольское оружие готовят немцы против Ленинграда, что это за акция, для которой необходима теплая погода...

На третий день после этой встречи Вальтер Гиллебранд уже знал, что «полковник фон Регенау» – белоэмигрант Борис Смысловский, профессиональный разведчик абвера. Еще до начала Восточной войны Смысловский работал в абверовской организации «Абвернебенштелле-Варшава», потом его перебросили к Шиммелью. Получил Шварц и еще одну весьма важную информацию, правда, пока предположительно. Не исключалось, что Виктор Смысловский работает на Интеллидженс Сервис и носит псевдоним «Холмстоун».

Кое-что прояснилось и по поводу намеков его новых «приятелей», Путилова и Врангеля. Если это соответствовало действительности, то следовало срочно все уточнить, перепроверить и немедленно докладывать Центру.

29

Готовясь к войне на Востоке и вероломно начав ее, Гитлер никогда не забывал о возможности применения газов. Он мечтал о глобальном воздействии на русских химическим оружием и не задумываясь пустил бы его в ход, если б не боялся ответного удара.

Впрочем, военные события первых недель войны складывались так, что явной необходимости в применении химического оружия не было. Германские панцирные кулаки пробиwali поспешно выстроенную оборону русских армий, отходящих в глубь страны, возникали у них на флангах, замыкали в клещи. В условиях стремительных марш-бросков применять газы было нецелесообразно и даже опасно для собственных войск. Хотя возможность химической войны полностью не исключалась, она входила в стратегические планы Верховного командования вермахта и Генерального штаба Сухопутных войск.

Справедливости ради надо отметить, что ни в разработке операции «Отто», как первоначально кодировалось наименование плана войны против Советского Союза, ни в печально знаменитом плане «Барбаросса», принятом 18 декабря 1940 года, не говорилось напрямую о применении боевых химических средств. Но уже 25 марта 1941 года генерал-квартирмейстер Багнер докладывал в Генеральном штабе Сухопутных войск, что к началу июня Германские дивизии, готовящиеся к войне на Востоке, будут вооружены двумя миллионами химических снарядов для легких полевых гаубиц и 500 тысячами снарядов для тяжелых полевых гаубиц.

Багнер торжественно заявил, что заряды различной окраски для ведения химической войны имеются в достаточном количестве, необходимо лишь наполнить ими снаряды, о чем уже дано соответствующее распоряжение. Со складов химических боеприпасов до 1 июня может быть отгружено по шесть эшелонов, а после первого июня – по десять эшелонов химических боеприпасов в сутки.

Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Франц Гальдер в тот же день записывал в дневнике:

«Для ускорения подвоза в тылу каждой группы армии будет поставлено на запасные пути по три эшелона с химическими боеприпасами, подготовка эшелонов для химических боеприпасов в Германии зависит от числа запасных путей, имеющихся в распоряжении начальника службы военных сообщений».

Дело ставилось на широкую ногу. На случай ответного химического удара создавалась стационарная дегазационная станция на германо-советской границе. Было сформировано девятнадцать дегазационных спецрот, по одной на каждую армию. Одну передавали в Норвегию, две предназначались для союзной Румынии, а семь оставались в резерве генерал-квартирмейстера Вагнера.

Курок был взведен. Оставалось его спустить... Характерно, что прямого указания о подготовке и развертывании химической войны против Советского Союза мы не найдем ни в одной из директив фюрера, отданных в 1941 году, ни в записках и предложениях ОКВ или ОКХ, регламентирующих дальнейшее ведение боевых операций. Вопрос этот относился к категории сугубо щепетильных, о нем не принято было писать. Кроме того, не все документы высшего командования вермахта и гитлеровского руководства удалось разыскать после войны.

Чтобы восстановить истину, обратимся к военному дневнику Франца Гальдера, который с подлинно немецкой педантичностью фиксировал все, что происходило на фронте и в Генеральном штабе Сухопутных войск.

3 октября 1941 года, в период подготовки к операции «Тайфун» – окружение и захват Москвы – Гальдер записывает:

«Полковник Окснер: «Отчет о боевом опыте химических войск и подготовке их к боевому использованию «Тайфун».

Знаменательна запись от 25 декабря 1941 года. Она свидетельствует о том, что Генштаб Сухопутных войск принял конкретные меры для подготовки газового удара по Ленинграду еще до того, как Гитлер принял в январе 1942 года свое отчаянное решение.

«Генерал Бранд докладывает о деятельности артиллерии на фронте группы армий «Север». Получил задачу составить расчет на использование химических средств против Ленинграда». На седьмой день января 1942 года у Гальдера появляется в дневнике еще одно свидетельство: «Полковник Окснер хочет мне навязать химическую войну против русских».

О нем мы еще услышим, об этом Окснере, который ведает химическим оружием и который вот-вот станет генералом. Его служебное рвение не будет оставлено без внимания.

В марте Окснер все еще полковник. Он инспектирует армии вермахта, готовящиеся к летнему наступлению, указание фюрера остается в силе. Едва потеплеет, русским будет поднесена химическая «пилюля». В записи от 23 марта 1942 года у Гальдера отмечено: «Полковник Окснер: Доклад о поездке в группу армий «Центр» и о состоянии там химических войск».

Подготовка к газовой войне шла полным ходом. Но к этому времени, когда Окснер изучал положение химических дел на фронте, Ставка Верховного главнокомандования уже знала о приготовлениях противника. Пройдет еще немного времени, и Гитлер будет поставлен в такую позицию, что откажется от своих варварских намерений. Пока же Окснер, теперь уже генерал, снова докладывает 24 апреля 1942 года в Генеральном штабе Сухопутных войск о текущих вопросах химической войны. Одновременно изучается готовность к ней со стороны русских. Немцы хотят подать свой химический удар как предупредительную меру против тех же намерений Красной Армии. Поэтому в Генштабе рассматриваются вопросы, связанные с готовностью оборонительных средств вермахта против ядовитых химических веществ...

Разумеется, никто, кроме Франца Гальдера, в том числе и Дмитрий Антонович Одинцов, не знал о записях в военном дневнике, его прочли только после войны. Но Вальтера Гиллебранда насторожили подозрительные фразы в разговоре Виктора Путилова и Бориса Врангеля. У Шварца были свои каналы, по которым он получал необходимую информацию. Само слово «акция» предполагало нанесение какого-то вреда противнику. Это могла быть засылка группы шпионов, мероприятия против партизан или советского подполья, действия, которые были прерогативой первого и третьего отделов абвера.

Но, скорее всего, речь шла о неких подрывных мерах, рассчитанных на защитников Ленинграда, против тех армий, которые пытаются сейчас прорвать блокаду города.

И Вальтер Гиллебранд решил начать действовать с тщательного изучения того, что происходит сейчас в абверкоманде-204, подразделении второго отдела абвера, призванного заниматься диверсиями в тылу противника и на переднем крае.

Резиденция абверкоманды-204 находилась в Пскове, на бывшей Советской улице, в доме В49. Возглавлял ее полковник фон Эшвингер.

30

Климент Ефремович Ворошилов прибыл на Волховский фронт 17 февраля 1942 года, сменив здесь в качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования Мехлиса. Сталин отозвал Мехлиса в Москву, чтобы поручить подготовку весеннего наступления в Крыму.

Ко времени приезда Ворошилова в Малую Вишеру, где дислоцировался штаб Волховского фронта, положение войск четырех армий было своеобразным. Вторая Ударная армия, занимающая центральное положение, глубоко продавила оборону противника и вела в его бывших тылах кровопролитные, непрекращающиеся ни на мгновение бои. На правом фланге со злополучными уступами назад у Чудова и Спасской Полисти, где сосредоточились ее главные силы, сражалась Пятьдесят девятая армия. Правее ее Четвертая армия упорно пыталась сбить немцев с Киришского плацдарма на восточном берегу Волхова. На левом фланге фронта Пятьдесят вторая армия не сумела ликвидировать уступ назад ко Второй Ударной и изо всех сил сдерживала теперь со стороны Новгорода натиск противника, пытающегося вернуть утраченный участок обороны в районе Мясного Бора.

Стало ясно, что задуманное вначале широкое наступление всех армий фронта не получилось. Поскольку же главный успех выпал на долю Второй Ударной армии, было принято решение закрепить за нею направление главного удара. Разрабатывалась новая оперативная задача – Второй Ударной армии наступать на Любань. Пятьдесят девятая армия будет по-прежнему пытаться взять Спасскую Полисть, откуда противник постоянно угрожает коммуникациям Второй Ударной. Операция получила название «Любаньская». Под этим названием она и войдет в историю.

За два дня до приезда нового представителя Ставки Мерецков уточнил задачу армии Клыкова: остановить продвижение частей в направлении Абрамов, Клин, Веретье Русское и Каменка, как бесперспективное в стратегическом отношении. От станции Глубочка войскам надлежало повернуть на северо-восток, к Любани, а на отвоеванных уже западных участках перейти к обороне, 13-й кавалерийский корпус Гусева развертывался на Ушаки. Ему предписывалось во что бы то ни стало выйти на Октябрьскую железную дорогу. Эта же цель была поставлена перед оперативной группой «Восток» генерала Привалова, которая должна была перерезать дорогу между станцией Чуцово и Любанью, перед этим разгромив немцев в Червинской Луке и Ручьях.

Приказ был отдан. Но выполнить его оказалось не так-то просто. Противник быстро разгадал замысел русских военачальников. Пользуясь железными дорогами, он перебросил с менее тяжелых участков фронта крупные силы, передислоцировал авиацию и успешно отбивал атаки соединений Второй Ударной, в значительной степени обессиленных в многодневных боях, нуждающихся в пополнении боевой техникой, вооружением, свежими резервами.

Потому и оставалась на прежних позициях группа генерала Привалова, продолжая вести жестокие бои за Кривило, Ручьи и Червинскую Луку, потому и споткнулись славные конники генерала Гусева, застопорили движение на оборонительной линии Красная Горка, Верховье, Корвий Ручей.

Ворошилов водил пальцем по оперативной карте, расставив большой и указательный, прикинул расстояние от Мясного Бора до станции Еглино, хмыкнул. Хоть и не так все складывалось, как задумывала Ставка, а все-таки молодец эта Вторая Ударная... И Гусев, как бог, ведет своих кавалеристов. Только куда там с саблями на танки... Хватит, пробовали уже в сорок первом. Самолеты нужны и пушки, а главное, чтоб снарядов было вволю. Разве это

война, если комбату за расход боеприпаса угрожают трибуналом... А Ставка жметя, экономит. Он, Ворошилов, знает истоки этой скарედности. Затеяны крупные операции, так сказать, «от моря до моря», резервы собирают повсюду, тщательно метут по закромам и сусекам, но, как там ни скреби, пусто еще в кладовых РККА, пусто... Для членов Ставки ВЕК и Государственного Комитета Оборона не было секретом, что за эти полгода ожесточенной войны были истрачены в боях или потеряны почти все накопленные в мирное время боеприпасы. Давеча Воронов рассказывал, Николай Николаевич, как под самый Новый год звонят из Ставки: «Отправляются на фронт два лыжных батальона, дело срочное. А у них ни одного автомата. Надо вооружить...» Начальник артиллерии Красной Армии приказал выяснить возможности. Оказалось, что в резерве всего 250 автоматов. Так-то вот... доложил Ставке и получил приказ: «Сто шестьдесят автоматов отдайте лыжникам, а себе оставьте девяносто...» Так и встретил Воронов сорок второй год, не имея и полной сотни автоматов в резерве. И смех и грех... А планы затеяны грандиозные... Что ж, нашим людям любые по плечу, только б вооружить их как следует. Сейчас бы к стратегической обороне перейти, перемалывать немцев, зарывшись в землю, пока Урал и Сибирь не заработают в полную свою мощь. Но, опять же, ленинградцев надо выручать, ждать они больше не могут.

Ворошилов вздохнул.

Вспомнив о Ленинграде, он мысленно перенесся в тот проклятый сентябрь прошлого года, когда был заменен Луковым по записке самого. Обида на Сталина до сих пор не проходила. Мог бы и лично по телефону отстранить, выругав покрепче. Хотя о чем он... Вождь никогда и никого не подвергал разносам, не повышал голоса, не раздражался, не употреблял крепких слов. Оттого-то так и обрывалось в груди, когда кто-нибудь осознал вдруг, что Сталин им недоволен. Но по записке... Ему бы, Ворошилову, мог и прямо сказать.

Климент Ефремович снова поколдовал над картой. Он должен был сказать Мерецкову то, что на словах передал для командующего Волховским фронтом Сталин, и никак не решался, хорошо помня, как появился тогда Жуков на Военном совете Ленфронта с запиской Сталина. У него записки нет, а миссия та же. Ведь он и сам понимает, как трудно здесь Мерецкову, и почему трудно...

– Извини, Кирилл Афанасьевич, – решился вдруг маршал, – конечно, я понимаю... Словом, Ставка тобой недовольна.

Теперь ему было легче, высказал главное. Посмотрел на комфронта. Мерецков наклонил голову, молчал.

– Верховный главнокомандующий просил передать, чтоб ты был поактивнее, что ли... Топчется, говорит, Мерецков на месте.

«Сам же видел, – мысленно выругавшись, подумал Кирилл Афанасьевич, – сам карту пальцами мерил... И в Ставке эти позиции нанесены».

Передавший полководцу нелестное о нем мнение Верховного, но тот был далеко и злиться на него вообще не полагалось, а Ворошилов, маленький, с большими залысинами и одутловатым лицом, в последнее время поусохший, но все еще полный телом, какой-то домашний, вовсе не похожий на маршала, сидел сейчас с ним рядом.

Ворошилов искоса взглянул на Мерецкова и подумал, что нелегко Кириллу Афанасьевичу дался тот вынужденный «отдых».

– В самое ближайшее время, – сказал он, – вы должны перейти к активным наступательным действиям. Во что бы то ни стало необходимо взять Любань. Это приказ.

Мерецков встрепенулся.

– Да-да, конечно, – заговорил он, нервно потирая руки, – сейчас это главное. Если мы овладеем Любанью, то с чудовской группировкой будет покончено. Но... Командарм Клыков прислал доклад, только что получен. Вот он.

– Читай, – велел Ворошилов.

– Слушайте, Климент Ефремович: «На моем участке в воздухе все время господствует авиация противника и парализует действия войск. Дорожная сеть в плохом состоянии, содержать ее в проезжем виде некому. Из-за отсутствия достаточного количества транспортных средств подвоз фуража, продовольствия, горючего и боеприпасов далеко не обеспечивает существующих потребностей».

– Помочь ему надо, Клыкову, – сказал Ворошилов. – За счет собственных твоих резервов, Кирилл Афанасьевич. Ставка тебе ничего сейчас не даст, учти. Понимаешь?

– Как не понимать, а хрена ли толку мне от этого? – возразил Мерецков. – Сам сижу на подсосе, укрепляю Вторую Ударную за счет других армий. По закону переливающихся сосудов... А Клыков считает, что для дальнейшего развития наступления ему необходимы три свежие дивизии, дивизион реактивных установок, не менее двух автобатальонов, не менее трех строительных батальонов, не менее пятнадцати бензовозов... Вот он пишет: «Пришлите сено, надо пополнить конский состав и прикрыть армию с воздуха». Прикрыть... Чем я прикрою, если у меня на весь фронт всего двадцать истребителей, да и те устаревших типов, «мессеры» жгут их, сколько хотят. Малую Вишеру бомбят каждую ночь, а отогнать подлецов нечем.

Ворошилов молчал. Ему была не по себе роль толкача, которую отвел ему Сталин на Волховском фронте. Титул громкий – представитель Ставки... А за ним пустой звук, если ты не можешь именем Ставки помочь Мерецкову. Не словом, а делом, резервами.

– Восьмидесятая кавдивизия полковника Полякова, которую я направил Клыкову, уже подходит к Красной Горке, – продолжал, успокаиваясь, Мерецков. – Сейчас доукомплектовывается Триста двадцать седьмая дивизия полковника Антюфеева. Она пойдет туда же. Постоянно направляем во Вторую Ударную маршевые роты, артиллерию, танки. Боеприпасов мало, Климент Ефремович!

«Их не только у тебя мало», – хотел ответить Ворошилов, но промолчал.

– Мы тут прикинули с начальником штаба и решили забрать у Яковлева, из Пятьдесят второй армии, одну дивизию. Снимем из горловины прорыва и Двадцать вторую стрелковую бригаду полковника Пугачева. Бросим их на укрепление группы Привалова «Восток». Она ведь тоже наступает на Любань...

– А где Стельмах? – спросил Ворошилов.

– Здесь, – ответил Мерецков. – Вызвать его?

– Вызови. Пусть о противнике доложит, с кем мы дело имеем. А то я что-то не разберусь с картой. Наворотили тут названий, мать их...

Когда вошел начальник штаба фронта генерал-майор Стельмах, Ворошилов спросил:

– Кто ведает разведкой у Клыкова?

– Рогов, – ответил Стельмах, – полковник Рогов.

– Знакомая фамилия, – пробормотал маршал. – Где-то я слышал о нем...

– Перед войной Рогов служил в Главном разведуправлении Генштаба, – дал справку начальник штаба. – Толковый разведчик.

– Посмотрим, – сказал Ворошилов, – чего он тут наворочал, этот толковый. Докладывай, начштаба. С самого начала давай.

– Когда мы перешли в наступление, – кашлянув и посмотрев на командующего, проговорил Стельмах, – немцы всполошились и принялись в спешном порядке перебрасывать в район прорыва самые различные части, снимая их с других участков, в том числе и с ленинградских позиций.

– Вот-вот, – оживился Ворошилов, – тут вы молодцы, облегчили ленинградцам положение. Теперь мы имеем точные сведения, что в январе фон Кюхлер собирался штурмовать город. А положение там – не приведи господи... Жданов докладывает в Ставку – плохо ленинградцам.

– У нас в войсках, и особенно у Клыкова, вся политическая работа ведется на этой основе, – сказал Мерецков. – Каждый снаряд по нашим частям – это снаряд, который не полетел в сторону Ленинграда.

Ворошилов кивнул Стельмаху: продолжай.

– Вскоре на опасных участках, – говорил начальник штаба, – собралось так много частей и подразделений, что немцы почувствовали: управлять ими стало трудно. Тогда командование противника перебросило в этот район штабы некоторых соединений. Они объединили все части и подразделения в особые бригады и группы.

– Кто у кого опыт перенимал? – улыбнувшись, спросил маршал.

– Не знаю, – ответил генерал армии. – Только оперативные группы я еще под Тихвином использовал. Может быть, немцы тогда и перенимали...

– Учишь немца, как воевать, – проворчал Ворошилов шутливо. – Давай дальше, начштаба...

– Вскоре в районе Спасской Полисти, – продолжал Стельмах, – появилась бригада «Кехлинг». Она объединилась с другими частями и получила название группы «Хенике». Здесь же действует бригада «Шедес» и 21-я пехотная дивизия. Любань прикрывают группа «Бассе» и 254-я пехотная дивизия. На левом фланге фронта, с юга, против 52-й армии действуют 126-я пехотная и 285-я охранная дивизии, а также группа «Яшке». Последняя создана на базе 20-й моторизованной дивизии. На западе на базе корпусного штаба создана группа «Герцог». Группы постоянно растут. Кроме того, против Второй Ударной немцы бросили едва ли не всех своих европейских лакеев.

– Как это? – спросил Ворошилов.

– В районе Любани и Спасской Полисти воюют испанцы-франкисты из 25-й, «Голубой дивизии». Прибыли легионы бельгийских фашистов – «Фландрия», голландских – «Нидерланды», а также отряды норвежцев-квислинговцев. Есть и подразделения эстонских националистов, польские солдаты под присмотром немецких офицеров. Их пропаганда старается изобразить этот «интернационал» как крестовый поход Европы против большевиков.

– В задницу бы им всем этот крест! – сказал Ворошилов.

– Не возражаю, – отозвался Мерецков.

– Пока противник не имеет преимуществ в живой силе, и пушек у нас побольше. Но гитлеровцы обладают большими запасами мин и снарядов, подвоз к войскам у них не затруднен, все железные дороги в руках у немцев. Мы же не в состоянии соперничать с противником в создании артиллерийской минометной плотности огня. Где там! Каждый снаряд на счету! Но главная опасность и главная наша забота – немецкая авиация. Она буквально терроризирует стрелковые части, особенно кавалерию, ей ведь не укрыться так, как пехоте.

Стельмах замолчал.

Ворошилов вдруг резко поднялся и направился к двери.

– Поехали, – на ходу бросил он Мерецкову.

– Куда, Климент Ефремович?

– Во Вторую Ударную, – ответил маршал.

31

Вальтера Гиллебранда вызывали в Берлин.

Шварца начинало уже беспокоить странное равнодушие руководства абвера к факту его возвращения с той стороны. Хотя формально Шварц был придан абверкоманде-104 и в оперативном отношении подчинялся подполковнику Шиммелью, тем не менее его статус разведчика был довольно высоким, и берлинское начальство всегда предпочитало услышать доклад Гиллебранда от него лично.

В то же время, нащупав источник информации о спешно подготавливаемой в группе армий «Север» химической атаке против Ленинграда, Гиллебранд не торопился в Берлин, стремясь на месте собрать необходимые сведения.

Начав с ведомства полковника фон Эшвингера, начальника абверкоманды-204, занимающейся диверсиями в тылу противника, Шварц установил, что, хотя здесь и знают об операции «Желтый Слон» во всех деталях, непосредственного участия в организации химического нападения сотрудники абвера принимать не будут. «Желтый Слон» – так кодировалось новое мероприятие, затеянное по личному указанию фюрера, – полностью отдавался на откуп военным. Руководство газовым ударом по Ленинграду возлагалось на отдел химической службы штаба 18-й армии. Подготовительные операции находились под личным контролем ее командующего, генерал-полковника Диндеманна. Оснащались химическим оружием и части 16-й армии генерала Буша, действующие против Северо-Западного фронта. В частности, было намечено высвободить войска, попавшие в Демянский «котел», с помощью неожиданного применения газов и других отравляющих веществ против армий генерала Курочкина.

Подготовка проходила в обстановке строгой секретности. О ней знали только сами химики, ожидавшие своего часа с начала войны, да несколько высших офицеров вермахта. Но в абвере и других секретных службах о «Желтом Слоне» известно было многим. Вальтер Гиллебранд вернулся от русских, когда машина была уже запущена, иначе он узнал бы обо всем в самом начале. Теперь ему необходимо было собрать неопровержимые доказательства того, что «Желтый Слон» – суть реальная опасность. Шварцу было известно, что в Центре отнесутся к его сообщению с известным недоверием. Оно проистекало от того, что о подготовке гитлеровцев к химическому нападению разведчики сообщали в первые недели войны. К счастью, этого не произошло. Теперь Вальтеру Гиллебранду приходилось учитывать определенную заторможенность реакции у тех, кто будет принимать решение о контрмерах. И он старался вооружить свой будущий доклад Центру неопровержимыми фактами, которые несли бы не только чисто деловую, военную информацию, но и психологическую нагрузку.

Формально от разведчика требуется беспристрастное и объективное освещение событий, уже произошедших или ожидающихся в будущем. Но разведчику отнюдь не безразлично, как распорядятся сведениями, ради которых он ежечасно рискует жизнью. Вальтер Гиллебранд хорошо помнил, какими необратимыми потерями обернулось недоверие к сигналам советских разведчиков со всех концов планеты, от берегов Ла-Манша до Японских островов, извещавших о нападении гитлеровцев и даже сообщавших точные сроки его. И сам он, Дмитрий Антонович Одинцов, был в числе тех, кто отправил тогда это трагическое сообщение, добытое с таким трудом и опасностью, отправил, веря, что этим спасает Отечество от вероломного удара в спину. Уже позднее Вальтер Гиллебранд узнал, что был не единственный, кто сообщал о готовящемся нападении.

Это несколько притупило душевную боль от случившегося, только что это меняло... Неоправданных потерь первых недель и месяцев войны уже не вернуть. Думая об этом, Шварц с горечью вспоминал утверждение Уильяма Оккама о том, что даже Бог не может изменить прошлое.

И когда Гиллебранд окончательно убедился в намерении командования группы армий «Север» применить против Ленинграда, а также войск Волховского и Северо-Западного фронтов отравляющие вещества, он не спешил сообщить об этом центру. Разведчик полагал необходимым выяснить: является ли задуманная акция частным случаем или это только начало широкого применения химического оружия по всему Восточному фронту.

Конечно, медсестра Караваева знала, как внезапно возникают и тут же рвутся короткие фронтовые связи между мужчинами и женщинами. Ей было известно о привычке иных старших командиров приближать к себе хорошеньких связисток, медсестер, санитарок... К чести девушек, надо отметить: они предпочитали общество молодых лейтенантов, взводных и ротных командиров, но у тех возможностей не было почти никаких, хотя чувства были, наверно, более искренними и чистыми.

Впрочем, всяко бывало. Война любви не помеха, скорее наоборот. Но Марьяна не принимала никаких доводов подружек, уверявших ее, что в исключительности фронтовой обстановки есть и привлекательная сторона: даже самая последняя дурнушка не засидится в девках при таком изобилии мужиков. Не надо, разумеется, представлять себе дело таким образом, будто на войне только и делали, что занимались любовью. Но и о ней не забывали тоже. Караваева знала с десятков любовных историй, должна бы вроде и привыкнуть, только вот от Тамары этого не ожидала.

...Прикорнув на часок перед рассветом, Марьяна неожиданно пробудилась, хотя и спала не более четверти часа. Она лежала в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь к странным звукам, что приходили из соседней комнаты, из-за тонкой перегородки – там размещался командир медсанбата. Но сегодня Ососкова не было – он уехал в Малую Вишеру за медицинским припасом. Кто же тогда в его комнате? Марьяна, напрягая слух, различила знакомый певучий голос Тамары. Голос прерывался, его сменял неразборчивый шепот, и страсть, которая переполняла его, казалось, прожигала тонкую перегородку. Мужской голос узнать Марьяна никак не могла.

Марьяна порывисто поднялась, оправила на себе одежду, вышла из домика и принялась ждать, когда появятся осквернившие храм милосердия люди, чтобы высказать возмущение. Кроме того, ей не хотелось, чтоб кто-либо узнал, кроме нее, о нравственном падении подружки.

И предосторожность Марьяны оказалась нелишней. Едва она заняла необычный пост, как появился санитар Шмакин с явным намерением войти к командиру медсанбата. Но Марьяна строго отправила его прочь, сказав, что Ососков еще не вернулся. Теперь необходимо было приготовиться на случай, если первым выйдет мужчина. Марьяне не хотелось обнаруживать перед ним, кем бы он ни был, свою осведомленность. Другое дело – Тамара. Той она выдаст по первое число.

И конечно, сначала вышел мужчина. Это был их военврач Саша Свиридов. Почему-то Марьяне казалось, что Тамара выберет чужого. Саша ведь был молодым еще парнем, даже усы отрастил, чтобы казаться постарше. Свиридов закончил военный факультет Харьковского медицинского института перед самой войной, побывал в окружении под Смоленском, дважды ранен, еще весной сорок первого года женился, и Марьяна знала, что в Ашхабаде у Саши родилась дочурка.

Это ее доконало. Ладно бы какой-нибудь залежный обольститель... Но Саша Свиридов! Боже мой, что творится на белом свете!

– Ты! – свистящим шепотом, голос у Марьяны сорвался, произнесла она, войдя в закуток командира медсанбата, теперь превращенный предприимчивой Тамарой в пресловутый шалаш, где с милым чувствуешь себя как в раю. – Ты... как могла? И с кем! С этим мальчишкой... Какая же ты сволочь!

– Это уже лишнее, – сказала Тамара. – Ты меня не сволочи, Марьянушка. Выслушай прежде. Даже бандитам дают на суде последнее слово. А за это в трибунал пока не отправляют.

Она лежала на комбатовской койке, одетая в солдатские кальсоны, они прятали ее округлые и соблазнительные бедра. Верхнюю часть подштанников прикрывала нижняя мужская

рубаха, развязанные тесемки свисали меж упругих Тамариных грудей, они приподнимали грубое бязевое полотно, образуя ладные такие холмики.

– Понимаешь... – лениво проговорила Тамара, зевнув и виновато улыбнувшись, прикрыла рот мягкой ладошкой, потом потянулась томно, так что хрустнули косточки.

Марьяна гневно глянула на нее, и Тамара вдруг резко поднялась и села на комбатовской постели.

– Прикройся! – придушенно сказала Марьяна и бросила Тамаре гимнастерку, лежавшую на табуретке. – Стыдоба-то какая...

– А чего стыдиться, Марьянушка? – спросила Тамара, натягивая через голову гимнастерку. – Сам бог благословил нас на это, когда создал мужчин и женщин. А Саша... Он хороший. Добрый и ласковый. Я к нему по-простому, как к боевому товарищу отношусь. «Тамара, – говорит он мне, – как ты насчет этого?» Я и отвечаю, что если желание у тебя имеется, то с моей стороны возражения нету. «Вот и хорошо, – говорит Саша, – понимаешь, чувствую, что приладимся друг к другу... Опять же, – говорит, – для здоровья необходимо». Я его и пожалела.

– Ну и как? – презрительно спросила Марьяна. – Приладились?

– Еще как, – засмеялась Тамара. – Славный он мужик, Саша Свиридов. И никакой не мальчишка... На два года старше меня.

– А любовь? – сказала Марьяна. – Ее-то куда?.. Как животные!

– Не скажи, – возразила Тамара, и в голосе ее зазвучала обида. – Совсем меня засрамила... Скотина, она ведь не ведает, что творит, ей род надо продолжить – и все. А мы с Сашей друг другу радость подарили. И может быть, никогда нам больше не испытать ее. Вот убьют его завтра или меня...

– Что ты каркаешь, дура! – прикрикнула Марьяна. – Удовольствие... Убьют... Безобразники вы! И ничего больше!

Она опустила на койку рядом с Тамарой, закрыла лицо ладонями и зарыдала. Тамара, натянувшая уже брюки и сунувшая ноги в стоптанные валенки с обшитыми кожей пятками, притянула голову плачущей подруги к груди и принялась гладить ее по волнистым, хотя и обрезанным коротко, волосам, приговаривая: «Ну что ты, родненькая... Успокойся, Марьянушка... Все буду делать по-твоему! Ни одного мужика больше не пожалею...»

Марьяна плакала. Сейчас она и сама не смогла бы объяснить, почему плачет. Та обида, которую вдруг испытала, гневаясь на подругу, странным образом истончилась в ее душе и готова была растаять бесследно. Не волновало больше Марьяну, что в объятиях Тамары оказался военврач Свиридов. Теперь ее мучило иное. Наверное, и плакала она оттого. Марьяна стыдилась собственной вспышки, припоминая упреки, которыми осыпала Тамару.

Она вдруг вспомнила недавний сон и те мысли, которые он вызвал. Привидевшееся показалось ей преступлением, зачеркивающим нравственное право осуждать за что-либо Тамару. В сознании молодой женщины неожиданно взорвалась некая психологическая бомба, она смяла ее духовные устои и заставила обратиться к самой себе. «Не случайно ведь мне приснилось такое, – думала она, – не случайно... Значит, и я преступаю, и более подло, чем Тамара. Преступаю тайно, в сновиденьях, уверенная в безнаказанности, ничего не боясь и ничем не рискуя. И никому не принося удовольствия», – горько усмехнулась Марьяна, вспомнив наивные оправдания Тамары, теперь они казались ей едва ли не святыми...

Она подняла голову, всхлипывая, и не мешала Тамаре стирать ее слезы, смотрела оставившимся, невидящим взглядом. Тамара продолжала бормотать утешительные слова, а Марьяна все корила себя за черствость, самонадеянность и пошлое ханжество. «Кто дал мне право осуждать ее? За какие заслуги возложила на себя полномочия святой? За собственное воздержание? Тьфу! Кому оно нужно, мое воздержание! Желаеть – воздерживайся, никто тебя не принуждает. Но по какому праву ты судишь других?»

Ей захотелось заплакать снова, но Марьяна услышала: сюда кто-то идет, и превозмогла себя. В дверь, постучав, просунул голову Свиридов и проговорил, стараясь не глядеть на сидевших рядышком медсестер:

- Комиссар объявляет общий сбор. Давайте по-быстрому!
- Что случилось, товарищ военврач? – как ни в чем не бывало спросила Тамара.
- Особисты приехали.

...Их было двое, особистов. Один совсем еще молодой, в перешитом под бекешу полушубке, новехонькой ушанке, сбитой на затылок, со щегольским чубом, нависавшим над левым глазом.

Второго Марьяна знала. Довелось ей однажды перевязывать главного чекиста в дивизии, вот он тогда и приезжал за начальством. Она и фамилию его запомнила. Беляков он, вот кто... Было ему лет сорок, может быть, чуточку побольше, но двадцатидвухлетней Марьяне он казался едва ли не стариком. Правда, морщин на лице Белякова образовалось много, и, наверное, когда он улыбался, они собирались у глаз в добрые лучики.

Был тут и рослый, красивый красноармеец, одетый в старую, выдавшую виды шинель, одна пола ее спереди была прожжена насквозь, а на спине расплылось большое масляное пятно. Судя по петлицам, был он из артиллеристов. На голове чудом держалась сплюснутая блином шапка. Несмотря на жалкую обмундировку и отсутствие на шинели пояса, выглядел парень довольно браво, и только глаза у него казались просящими, жалкими. Левая рука у красноармейца была обмотана некогда белыми тряпками. Теперь они приобрели кроваво-бурый цвет. Руку артиллерист держал у груди, иногда, когда раненая уставала, он поддерживал ее правой.

Беляков разговаривал с комиссаром, а вокруг молодого особиста и распоясанного парня постепенно стали собираться ходячие раненые, медсестры и санитары.

Одной из последних пришла Тамара. Она увидела раненого красноармейца и подошла к нему.

– Что же ты, милый, руку свою не обходишь? – упрекнула она. – Давай-ка перевяжу... Экой ты распустеха!

Парень вздрогнул, когда Тамара к нему обратилась, смешно заморгал длинными пушистыми ресницами, испуганно глянул на стоявшего рядом особиста. А Тамара ловко взяла руку красноармейца и принялась бережно снимать повязку. Он потянул было руку к себе и снова взглянул на того особиста, что стоял рядом. Особист нехорошо усмехнулся, потом махнул рукой:

- Перевяжи, перевяжи его, сестрица.

Тамара заканчивала перевязку красноармейца, у него была навывлет прострелена ладонь, когда появился Беляков в сопровождении комиссара медсанбата. Он удивленно глянул на Тамару и раненого, парень виновато улыбнулся и отвел глаза. Беляков вопросительно посмотрел на молодого коллегу, тот пожал плечами, а старший чекист покачал головой.

– День солнечный, – обратился Беляков к комиссару, – и потеплело даже... Соберите людей на поляне. Раненых, кто может двигаться, и медицинский персонал. Времени у нас в обрез.

Комиссар поморщился и отвернулся.

- Караваева, – сказал он Марьяне. – Известить всех...

Стояли полукругом у сосен, кое-кто и за деревья зашел, а на открытое пространство молодой особист вывел раненого красноармейца. Свежая повязка белела на его руке, которую парень не прикладывал больше к груди. Оставив его одного, особист приблизился к Белякову, который стоял на правом фланге рядом с Марьяной.

- Скажете слово, Фрол Игнатьевич? – спросил молодой.

Беляков махнул:

– Давай сам, Лабутин, приобщайся.

Лабутин подошел к комиссару, сказал ему что-то, склонившись к уху, и тот кивнул.

– Товарищи красноармейцы! – крикнул Лабутин, когда вновь оказался рядом с тем, кто в одиночестве стоял перед нестройными рядами раненых бойцов и военных медиков. – Доблестные бойцы Второй Ударной армии! Перед вами стоит человек, который недостойн больше этого звания! Он хуже ненавистного врага, хуже любого фашиста... В то время, как вы честно проливали кровь в боях с немецкими оккупантами, эта сволочь стреляла в себя! Он сам прострелил себе руку, чтоб спасти свою подлую шкуру... Смотрите!

Лабутин схватил обреченного за левую руку и резко ее поднял.

Лицо у парня искривилось, глаза наполнились слезами, он всхлипнул, а в толпе громко ойкнула Тамара.

– Этот «самострел» изувечил себя, чтоб избежать смерти, – продолжал Лабутин. – Но разве вы все хотите ее? Нет! Каждому хочется жить, это так... Но лучше смерть в священном бою, чем то, что ожидает этого подонка... Собаке собачья смерть!

Последние слова Лабутин произнес с особой силой, срываясь на крик, и посмотрел на Белякова. Ему показалось, что старший товарищ насупился, и Лабутин решил перейти к деловой части процедуры. Он знал, что Беляков недолюбливал красноречия при свершении не веселых дел. Фрол Игнатьевич считал, что все сказано в приговоре военного трибунала, коротко сказано и ясно.

И Лабутин принялся читать приговор. Приговор был лаконичным: «На основании таких-то статей... приговорить к расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит... Привести в исполнение на месте».

– Кто желает привести? – крикнул Лабутин и расстегнул кобуру.

Среди раненых стоял Степан Чекин. Он случайно попал в этот чужой, не его дивизии медсанбат, когда угодил под выстрел немецкой «кукушки». Рана оказалась несерьезной, и сержант упросил Ососкова оставить его для излечения на месте.

– Есть желающие? – снова выкрикнул Лабутин и вынул из кобуры «наган».

Степан Чекин видел уже и не такое. Кто побывал на Невской Дубровке, тот на всю жизнь насмотрелся. И голод, и холод прошел, только медные трубы не играли для них торжественных маршей, время для маршей не пришло. А дезертиров при нем расстреливали, и самострелы бывали. Вот еще голосующие находились. Те вроде как похитрее шкурничали, звали немца на помощь. Сидит в окопе и руку над бруствером тянет, голосует, надеясь, что фашист его приласкает пулей, и тогда получит он себе рану что надо, без порохового нагара, без следов тряпки или хлеба, ведь некоторые умельцы руку перед выстрелом обматывали тряпкой или приставляли к ней буханку. Только и тех и других довольно просто ловили и брали на цугундер. Конечно, кто и вывернуться сумел, не без того, и сейчас в тылу загорает...

Желающих привести пока не находилось. Раненые были насуплены, они хмуро смотрели на опустившего плечи парня, но стрелять в него никто не решался. И Степан вдруг вспомнил, как на Невской Дубровке им давали пайку хлеба, похожего на мыло. Ее делили на части, чтоб растянуть на весь день, и хлебный запас никто не прятал, он лежал у каждого в блиндаже на полочке при нарах. Но вот хлеб стал вдруг пропадать. Обнаружить вора делом оказалось несложным, поймали с поличным. И все разрешилось само собой. Никаких тебе допросов у следователя, ни прокурора с трибуналом. Вытащили вора из блиндажа в траншею, там его и кончили по молчаливому приговору, списав все на немецкого снайпера. Такое время – голодное и жестокое.

Правда, сам Чекин в того подонка не стрелял, по молодости его освободили. Но солдатскую казнь одобрил, хотя, признаться, и жутковато было. Сейчас же к рослому и статному парню, его выправку не могли скрыть ни жалкая одежда, ни униженное положение приговоренного к смерти, Чекин испытывал чувство безглаголивости. И ничего больше.

А этот стрелявший в себя боец думал сейчас о смерти. Он уже приготовился к ней, когда ему объявили приговор в трибунале, когда везли его из дивизии в медсанбат, чтобы расстрелять в назидание остальным. Только новая перевязка, ее свершила умелыми руками Тамара, скомкала душу. В сознании вдруг затеплилась надежда. Ему показалось: все, что сейчас происходит, не настоящее, понарошку. Пугают его, наставляют подлым примером красноармейцев, все скоро кончится, его отправят в штрафную роту, и там он искупит, обязательно искупит свою вину. Ведь не боится он смерти теперь! Теперь он, после всего, ничего не боится! Только бы позволили искупить...

Пусть разрешат ему умереть в бою! Лишь бы не так... Не хочется умирать, как собака! Не надо собачьей смерти... Эти слова рвались из него, но приговоренный к расстрелу молчал.

Когда Лабутин стал вызывать желающих исполнить приговор и никто не откликнулся, вновь колыхнулась в сердце «самострела» надежда. Он ищущим взглядом всматривался в суровые лица бойцов, стараясь разглядеть в них сочувствие, но красноармейцы отводили в сторону глаза...

В третий раз возвысил голос Лабутин. Но теперь в призыве его звучала некая безнадежность, он понял, что желающих не найдется, и призывал больше для порядка.

И тут решилась Марьяна. Не раз говорила она подругам, как собственными руками задавила бы человека, трусившего в бою. Такой вот и был сейчас перед ней. Она вспомнила погибшего в первый день войны мужа, ребятишек, оставленных бабке, осиротеть окончательно они могут ежечасно, увидела вдруг искалеченных, которые страшной вереницей прошли через ее руки, и тех, кто умер, не выходя из шока, и подумала о том, что этот вот красавчик на самом деле страшнее отъявленного фашиста...

Лабутин, не поднимая «нагана», крутанул барабан. Марьяна шагнула вперед. Она хотела выкрикнуть: «Дайте мне! Я его расстреляю», но тяжелая рука опустилась ей на плечо и остановила.

Не пустил ее Беляков.

Марьяна повернулась, изумленная, и увидела добрые, а сейчас и укоризненные глаза Белякова. Он притянул ее за плечо к себе и, склонившись к уху, сказал:

– Ты что, дура? Хочешь, чтоб и после войны он тебе снился? Не егосьись... Лабутин сам. Он справится, умеет.

Лабутин всего этого не видел. Теперь он знал, что процедуру заканчивать ему. Левой рукой приподнял шапку, скользнул ее краем по лбу, подбирая чуб, и плотно нахлобучил на голову. Затем еще раз крутанул барабан револьвера и медленно взвел курок.

Только сейчас до конца осознала Марьяна, что собиралась сделать. Ее затрясло всю, она повернулась, закрыла лицо руками и пошла прочь; раненные расступились, давая сестре дорогу. И Марьяна не видела, как Лабутин зашел приговоренному за спину, а тот вдруг пал на колени, протянул руку к стоявшим в молчании людям и зашептал, с трудом разлепляя запекшиеся губы:

– Товарищи, помилуйте... Помилуйте! Товарищи, помилуйте...

А Лабутин медленно поднял «наган» и направил ствол в затылок парня. И солдат ощутил движения особиста. Он вскинул руки, упала в снег его жалкая, не по размеру шапка. Приговоренный обхватил голову, заросшую волосами, будто пытаясь уберечь ее. И тогда Лабутин выстрелил. Потом для верности еще два раза. Пули «нагана» раздробили кисти рук казненного теперь солдата и пронзили мозг.

Не отнимая рук от головы, красноармеец некоторое время продолжал стоять на коленях, будто в него и не стреляли вовсе, хотя каждый выстрел толкал его вперед. Лабутин подождал несколько секунд, потом ткнул казненного стволом револьвера в плечо. Труп мягко завалился на бок.

– Расходитесь, товарищи, – закричал Лабутин, – и залечивайте честные раны, полученные в бою с гитлеровскими захватчиками! И расскажите об увиденном сегодня товарищам по оружию! Пусть знают все: никакой пощады подлым трусам и предателям!

Он обошел труп и приблизился к комиссару медсанбата:

– Прикажите санитарам зарыть его где-нибудь. Думаю, что мероприятие прошло удачно. Лучше бы, конечно, если б кто-нибудь из легкораненых согласился привести... Впрочем, и так хорошо.

Когда Лабутин садился с Беляковым в машину, он спросил:

– Как, по-вашему, Фрол Игнатьевич? Справляюсь я с процедурой?

– Справляешься, – ответил Беляков. – И патронов не жалеешь.

...Едва уехали особысты, поступила новая партия раненых, и в начавшейся обычной суматохе отодвинулись недавние события. У Марьяны один за другим умерли два красноармейца, и сестра поймала себя на том, что приняла их смерть равнодушно. Это расстроило ее, она сделалась сама не своя. Трудно представить, во что бы вылились выпавшие на ее долю за короткий промежуток времени тяжелые испытания, если б не стряслась иная беда: к медсанбату прорвались немцы.

Это была одна из рейдовых поисковых групп в составе двух взводов автоматчиков. Используя своеобразие фронтовой обстановки на Волховщине, когда русские вели наступление не сплошной линией, а только по опорным пунктам, германское командование посылало летучие группы хорошо вооруженных солдат из числа ветеранов в тылы Второй Ударной армии с заданием нападать на штабы, отдельные подразделения, перехватывать обозы с боеприпасами и продовольствием.

Группа, которой командовал обер-лейтенант Цильберг, проникла в расположение русских несколько дней назад. Ничем не обнаруживая себя, немцы обошли ряд мелких подразделений, стараясь не расплытаться на незначительные стычки и выискивая добычу покрупнее. Они рассчитывали напасть на штаб 46-й дивизии, но штаб недавно передвинулся вперед, и Цильберг потерял бы его из виду. Тогда он решил взять «языка», чтобы сориентироваться в обстановке. Но захваченный в плен старшина, который вез в санях продукты к переднему краю, не сказал ни слова. Пришлось его заколоть. Поэтому, когда обер-лейтенанту доложили о том, что обнаружен медсанбат, он облегченно вздохнул: легкая добыча, которая не будет стоить ему ни одного ландзера¹, к тому же тут целый легион штиммефанген². От раненых толку мало, если их подстрелили давно, но военные врачи, несомненно, знают, где находится штаб. И потом, обер-лейтенант Цильберг отдавал себе отчет в том, что, уничтожив такое крупное, но вовсе беззащитное медицинское подразделение, как санитарный батальон, он нанесет чувствительный удар по врагу.

...Первым увидел немцев один из братьев Садыковых. Он вышел глотнуть свежего воздуха, так как кружилась голова от запаха крови и лекарств, и незаметно для себя зашел в глубь леса метров на двести. Садыков, это был старший из братьев, сначала учуял запах немецких сигарет и насторожился. Он еще не видел самих гансов, но услышал их речь и принялся осторожно смещаться к медсанбату. Последние метры Садыков уже бежал изо всех сил, хватая ртом воздух. Так он и ворвался к комиссару, с раскрытым ртом и непривычно расширенными глазами:

– Немцы, товарищ комиссар, немцы!

– Какие немцы, Садыков? Откуда они?

¹ Ландзер – пехотинец (нем.).

² Немецкий военный жаргон, выражение – калька с русского «взять «языка».

– Сюда идут! Я автомат пошел брать.

Санитарам полагались обычные винтовки, но Садыков-старший раздобыл где-то два автомата, себе и брату, и тщательно прятал их, особенно от начальства, резонно опасаясь, что отберут.

Теперь онигодились, дегтяревские машины. Садыков-старший занял позицию там, откуда увидел немцев, а брата послал на противоположную сторону, справедливо полагая, что фашисты появились здесь не для прогулки.

Комиссар же, не мешкая, поднял врачей и сестер, санитаров, раненых, тех, кто мог держать оружие в руках. Таких в медсанбате оказалось довольно много, да вот беда – вооружить их было нечем. У врачей, правда, имелись пистолеты, у санитаров – винтовки, только куда им против автоматов. Но драться собирались все. Кулаками, зубами, саперными лопатами, чем придется. Тут-то санитар Шмакин и заявил, что у него имеются два ящика гранат. Разбираться, откуда они взялись, было некогда, и комиссар распорядился раздать гранаты раненым и санитарам.

Солдаты Цильберга одновременно окружали медсанбат. Двигались они осторожно, медленно, держа наготове автоматы, но шагали в полный рост, уверенные в безнаказанности. Садыков-старший хладнокровно подпустил их поближе и ударил из автомата. Эти очереди на какие-то мгновения ошеломили немцев. Но они залегли и открыли бешеный ответный огонь.

Так начался этот неравный бой. В первые же его минуты из-за беспечности и самонадеянности обер-лейтенант Цильберг потерял нескольких ландзеров. Что ж, война есть война. Но и русские обречены, он перебьет их всех на расстоянии, забросает гранатами, даже не поднимая людей в атаку.

Но русские, раненые и «клистирные трубки», продолжали отбиваться.

Медсестра Караваева залегла в неглубокую яму с «трехлинейкой», которую ей дал комиссар. Стреляла Марьяна хорошо, спасибо погибшему мужу, заставил учиться, сдала она даже на ворошиловского стрелка. Правда, немцев не было видно, они зарылись в снег и стреляли по медсанбату из-за сугробов. Но Марьяна и целилась туда, откуда раздавались очереди, откуда доносились неясные крики: то ли команды, то ли проклятия.

Военврач Свиридов, залегший рядом, стрелял из пистолета. Пистолет, конечно, не винтовка, разбрасывает сильно, кучности от него не жди, на сильном морозе нередко отказывает, но другого оружия не нашлось, и Свиридов целился аккуратно, по всем правилам. У него было две обоймы. Первую он уже использовал и теперь стрелял редко, боясь проворонить и выпустить последнюю пулю.

А враг подбирался все ближе. Комиссар прикинул расстояние до него и велел группе легкораненых бойцов и санитаров выдвинуться вперед и метнуть по две гранаты, одну за другой, по его сигналу.

– Ракету пушу, – сказал он, – красную. Вы сразу и того...

Получилось неплохо, метнули, как надо. Немцы даже стрелять перестали. Цильберг, правда, быстро пришел в себя.

– Гранаты к бою! – передал он по цепи.

Сейчас он покажет им, проклятым фанатикам. Кстати, с ракетой они придумали неплохо. Имеет смысл перенять.

– Бросать по зеленой ракете! – приказал он.

Цильберг выстрелил из ракетницы. Немецкие гранаты на длинных деревянных ручках полетели, кувыкаясь, к русским, у которых боеприпасы были уже на исходе.

Их разрывы нанесли урон защитникам медсанбата. Погиб уса́тый сержант с забинтованной головой, его соби́рался угостить папиросой Лабу́тин. Осколками ранило комиссара, положило на месте двух санитаров. Были потери среди раненых, ожидавших отправки в тыл и уже предвкушавших заслуженный отдых в госпитальной палате.

Погиб и Саша Свиридов. Граната с деревянной ручкой упала между ним и Марьяной. Военврач быстро схватил ее, видимо, хотел бросить обратно, но даже размахнуться не успел. Граната взорвалась у него в руках.

Свиридов принял на себя все осколки, заслонил Марьяну и тем спас медсестру. Взрыв оглушил ее; контуженная, она упала ничком, теряя сознание. Марьяне показалось, будто она услышала в тот миг голос Тамары: «Вот видишь, как получилось. Даже не завтра – сегодня не стало Саши». И еще ей показалось, что она услышала далекое родное «ура!».

Так оно и было. К ним пришла помощь. Правда, она могла и опоздать, задержись Олег Кружилин с ротой хотя бы на полчаса. Вроде бы случайность. Только нигде так безраздельно не властвует Его величество случай, как на войне. Здесь он зачастую легко опрокидывает тщательно расписанные расчеты гениальных стратегов и талантливых полководцев. А то и приносит неожиданные победы.

Нет, не случайно обер-лейтенант Цильберг старался как можно быстрее покончить с медсанбатом, опасаясь, что шум боя привлечет нежелательное внимание. Правда, разведка доложила ему, что поблизости никаких строевых частей противника нет. Откуда было знать ей, что двумя неделями раньше здесь перевязывал задетое пулей плечо Олег Кружилин? А потом, вернувшись в часть, получил приказ отправляться в 46-ю дивизию во главе переданной туда для пополнения роты. К месту назначения были две дороги. Он выбрал ту, возле которой находился медсанбат. И не случайно. Олег запомнил медсестру, что делала ему перевязку, звали женщину довольно необычно – Марьяной, и теперь ему захотелось повидать ее.

Услышав шум боя, Олег тотчас развернул роту. Первый взвод со старшим сержантом Фроловым он послал в обход слева, приказав не ввязываться в бой, пока не начнет атаку с фронта.

– Услышишь «ура!» – открывай огонь, – сказал Кружилин Фролову.

Третий взвод должен был зайти немцам с правого фланга, а сам командир роты с остальными бойцами собирался атаковать обнаглевшую немчуру, которая рвалась к медсанбату, с фронта.

Удар по врагу был сильным и неожиданным. На участке Фролова ландзеры Цильберга быстро смекнули, что почем, и сразу перестали сопротивляться, бросили автоматы в снег, подняли руки. Фролов мужиком был хозяйственным, рассуждал всегда трезво. Он полагал, что пленный немец лучше мертвого, потому как живого можно заставить работать, мертвый же и на удобрение не годится. А работы им, пленным, в разоренной России под завязку. Пусть и вкалывают теперь.

Поэтому Фролов не позволил разъярившимся бойцам прикончить пленных. И, оказавшись здесь Цильберг, отправил бы и его на Урал или в мифическую Сибирь, о которой ходили среди пришельцев чудовищные слухи. Но обер-лейтенант был там, где атаковал третий взвод. Командир взвода малость промешкал, запоздал на десяток минут и дал возможность Цильбергу отойти с полудюжиной солдат. Конечно, отряды сразу же Олег Кружилин погоню, их бы догнали, но командир роты не знал об этом, а когда допросил солдат и стало ясно, что обер-лейтенанта нет среди убитых и раненых, было уже поздно.

Но еще до первых допросов Олег Кружилин разыскал среди защитников медсанбата Марьяну Караваеву. Она сидела, прислонившись спиной к трупу Свиридова, и ошалело мотала головой – в ушах звенело и гудело, земля качалась перед глазами. Кружилин бережно поднял ее, поддерживая, провел в полузавалившуюся палатку. В палатке было сумрачно, маленькие целлулоидные оконца плохо пропускали свет. Кругом раздавались стоны раненых, комиссар пытался навести порядок, слышался звонкий, певучий голос Тамары.

– Мне душно, – проговорила Марьяна, и Кружилин вывел ее на воздух.

Небо на западе побагровело, и солнце зацепилось уже за верхушки сосен. Едва оно скроется за ними, на землю придут синие февральские сумерки. Ночи пока еще длинные, а этот

зимний короткий как будто бы день тянется нескончаемо долго – столько событий вместил в себя.

Кружилин оглянулся. Снег вокруг был затоптан. Он увидел за помещением эвакуроты две санитарные машины и подумал, что там снег почище. Олег повел туда Марьяну. На полдороге она вдруг остановилась, отстранилась и пристально глянула на него:

– Где-то я уже видела вас.

– Конечно, – согласился Кружилин, улыбаясь, – вы перевязывали меня.

– Нет, – возразила она, – не здесь, в другом месте.

Они дошли до санитарных машин. Олег завел Марьяну в пространство между ними, здесь не ступала по снегу нога человека, зачерпнул пригоршню и стал тереть Марьяне лицо.

– Хорошо, – говорила она. – Трите сильнее, не бойтесь!

На разгоряченном лице Марьяны таял снег, капли сползали по лбу и щекам.

– Вот почти и прошло все, – сказала Марьяна и принялась искать платок.

Кружилин выхватил из кармана индивидуальный пакет, быстро разорвал его и стал бинтом стирать капли с Марьяниного лица. Они так увлеклись, что не заметили, как из санитарной машины осторожно выбрался немецкий солдат с автоматом. Он понимал, что долго в машине не просидишь, могут в любое мгновение прийти русские, вот эти же двое, и обнаружат его. Надо добраться до леса, и черт его, Курта Форштадта, возьми, если он не заставит эту парочку помочь ему спастись.

Курт встал метрах в четырех за спиной Кружилина – Марьяна тоже пока не видела немца – и тихонько сказал:

– Ком! Руих!

Иди, значит, и чтоб было тихо...

Кружилин, повернувшись, увидел перед собой изготовленный для стрельбы автомат и ухмыляющегося немца. Тот был без шапки, длинные волосы его свисали на лоб, открывая пробор посередине. Олег смотрел на этот пробор и чувствовал, как спазмы перехватили горло. Внезапное появление немца на секунду парализовало его, но когда Курт снова заговорил, к Олегу вернулась способность оценивать обстановку. А чего ее оценивать? Хуже не придумаешь. Разгромили немцев, а один из них, оказывается, спрятался в санитарной машине. И вот теперь...

– Снимать, – сказал Форштадт и обвел автоматом круг, показывая, что имеет в виду кружилинский полушубок. – Быстро давай!

Кружилин понял жест немца. Он глянул на побелевшее лицо Марьяны, вздохнул, медленно поднял правую руку и расстегнул верхнюю петлю полушубка. За пазухой у него лежал пистолет, правда, патронов там осталось два или три. Только вот даст ли ему этот тип выстрелить?

– Но-но! – сказал Курт, будто прочитал мысли Олега, и угрожающе повел ствол автомата.

«Нет, не даст, собака, – подумал Кружилин, – не успею... Как глупо все получилось! Надо отвлечь его!»

– Не понимаю, – сказал Олег по-немецки, подбираясь рукой ко второй петле, – на что вы рассчитываете. Уйти вам не удастся даже в моей одежде. Кругом расставлены часовые. Предлагаю сдаться в плен. Слово офицера – вам будет сохранена жизнь, вы вернетесь на родину после войны.

Курт несколько оторопел, услышав чистейшую немецкую речь, да еще с восточно-прусским выговором. Он поначалу ничего не понял, затем вдруг решил: перед ним предатель, перешедший на сторону русских. Что же делать?

Это минутное замешательство стоило ему жизни. Случайно оказавшийся поблизости Чекин сразу понял ситуацию, в которую попали командир и медсестра. Он бесшумно придви-

нул, метнулся за кузов второй машины, перевел дыхание и с силой метнул хирургический нож с тяжелой рукояткой в затылок Форштадта.

– Ты даешь, парень, – сказал Кружилин, снимая с трупа автомат. – Силен бродяга! Из десантников небось?

– Нет, просто сержант. Степаном меня зовут.

33

На этот раз атака захлебнулась. Батальоны стрелковой бригады, которую поддерживали огнем истребители танков, продвинулись вперед на сотню метров и залегли на подступах к Сенной Керести. Наступил рассвет, который не предвещал ничего хорошего оставшимся в живых людям. Они узнали: весь предстоящий день пролежат в снегу, подвергаемые бомбежке и артиллерийскому обстрелу. И минами противник будет бросаться, это точно. Свои станут стрелять скупой, они ждут ночи, чтобы повторить атаку.

Батарея, в которую входило орудие Дружинина, почти не пострадала. Один убитый в соседнем расчете да трое раненых – это не потери, пустяк. Теперь артиллеристы окапывались, маскировали новые позиции, готовили запасные.

– Наш подопечный стрелковый батальон, – сказал командир батареи, – сегодня ночью идет в наступление. Вместе с другими, конечно. Мы поддерживаем его огнем по обычной схеме, дело вам привычное. Готовьтесь, а я буду на командном пункте.

Батальон занимал позиции на левом фланге 58-й стрелковой бригады перед деревней Сенная Кересть, о которой бойцы никогда прежде не слыхали. Слева, на Кривино, наступала 4-я гвардейская дивизия, о чем артиллеристы узнали случайно, от забредшего к ним заблудившегося красноармейца. А что делается в других местах, артиллеристы не ведали, потому как не положено.

Ровно в полночь начали работать «катюши». Потянулись к немцам оранжевые ведьмины языки, опаяя жарким духом артиллеристов. Впереди бог знает что творилось. Тут и артполк покидал немцам 152-миллиметровые гостинцы. А сорокапятчики молчали. Их дело – следовать за пехотой, оказывать ей поддержку в борьбе с танками.

Вот огонь артиллерии перенесли в глубину обороны противника, ахнула в небо зеленая ракета. Призрачный свет ее выхватил из тьмы вешки над окопами, ими обозначила пехота коридоры для прохода танков. Значит, пошли ребята. Даешь немецкого гада и Сенную Кересть! Танки с автоматчиками на броне рванулись вперед. А с ними и артиллеристы подыехали хоть малость. Потом отцепились, орудия развернули, теперь начнется их работа. Танковый удар в сочетании с ударом «катюш» ошеломил противника. Тут еще и ночное время роль сыграло. Не любили гансы ночью воевать, неудобным им казалось это время для драки, неправильным, что ли... А нашему солдату оно вроде бы все равно – что днем, что ночью. Начальство про сие раскумекало и иначе как ночью атак не производило. И частенько небезуспешно.

И сейчас, в эту глухую полночь, гансы дрогнули и отступили. Дружинин глянул окрест и увидел, как в полусотне метров вымахнуло из траншеи с пяток фашистов. Они увидели копошащихся у орудия батарейцев, навели было на них автоматы, но упреждающе твякнула осколочным пушка, осколки посекали автоматчиков наповал.

– Вперед! – крикнул Дружинин, и бравый его расчет потащил орудие к немецким окопам.

Тут они обнаружили брошенную 37-миллиметровую противотанковую пушку. Наводчик Киреев и заряжающий Назин быстро осмотрели ее: исправна и даже в казеннике бронебойный снаряд – выстрелить фашисты не успели. А в ровике полным-полно ящиков с боевым припасом. Развернули пушку и давай палить по отступающему врагу. А рядом стрелял из своего орудия Толя Дружинин, он был за наводчика, а заряжающим стал у него маленький Кузин. Так

и палили из двух стволов, пока не появились комбат Шабуров, старший лейтенант, и ординарец с ним.

– Молодцы, истребители! – крикнул комбат. – Всех представлю к наградам. Иди, Киреев, к нашему оружию, сержанту помогай.

Шабуров наводил, ординарец подавал снаряды, а Ваня Назин заряжал пушку и делал все так ловко, будто всю жизнь стрелял из немецкой тридцатисемимиллиметровки.

Неожиданно перед ними возник танк. Он прятался, что ли, в ложбине или подбирался по ней, но возник внезапно и принялся поливать вокруг из пулемета. Пехота залегла. Шабуров изловчился поджечь танк трофейным снарядом, красноармейцы поднялись в атаку и дрались уже во второй линии окопов. И в это время донесся из ближнего леса скрежещущий вой – это сыграл немецкий шестиствольный миномет. Дико проверещали в воздухе мины, и одна из них шандарахнула у трофейной пушки комбата. Клубы дыма и снега закрыли расчет.

– Вот суки! – закричал Киреев. – Угробили ребятишек!

Оседал подброшенный в воздух снег, и рассеивался вонючий, чесночный дым. Ординарцу комбата снесло осколком голову, а старшему лейтенанту перебило пальцы на правой руке. Назин оказался невредимым. Только вот пушка была искалечена изрядно. Осколок ударил в поворотный механизм оружия и заклинил его.

– Отвоевался! – заорал вдруг комбат.

Он был контужен и не слышал собственного голоса, потому и кричал, глядя на изувеченную руку, нелепо выглядевшую без пальцев.

– Не могли мне левую отсечь, собаки!

Дружинин бросился к комбату, затянул убитую руку у основания кисти, чтобы остановить кровь, принялся было перевязывать, но Шабуров оттолкнул его.

– Иди к оружию, сержант! – снова заорал он. – Я потерплю. Да вот и этот перевязет... Как тебя зовут? Назин вроде. Мотай бинт, говорю, мотай на кочерыжку!

Снова рвануло за позицией. Они лишь головы пригнули, когда проверещали осколки, а маленький Гриша Кузин негромко вскрикнул, поднял руки, обхватил ими голову, потом захватал-захватал широко раскрывшимся ртом, будто захлебывался, воздух и ткнулся лицом в стреляные гильзы. Назин поднял тщедушное тело, привалил к орудию щитку, осветил лицо фонариком, увидел, как плывут по щекам красные ручейки. Осколок ударил под каску, пробил висок и вышел на затылке.

– Убили мальчишку, гады!.. Сколько ему было, Дружинин? – спросил комбат, неловко пытаясь обернуть свободным концом бинта набухшую кровью повязку.

– Весной призывался, прошлого года, – ответил сержант. – Девятнадцать-то, поди, сравнялось...

– Небось и бабу не мял ни разу, – нестати отметил Шабуров и хрипло приказал: – Кузина схоронить, позицию удерживать! Иду в медсанбат.

Бой то затихал, то снова разгорался, то снова затихал. Расчет закатил орудие в укрытие и стал рыть для Кузина могилу.

...Рассвет 10 февраля 1942 года противотанкисты встретили в другом месте. В гиблых низинных краях отыскивали высокое сухое место. Тут они и расположились с пушчонкой, грустно прозванной с начальных дней войны «Прощай, Родина». Уж очень их много гибло, истребителей-пушкарей.

Позицию в этот раз оборудовали по всем инженерным правилам. Землянку соорудили с двойным бревенчатым накатом, запасных окопов нарыли, тягач закопали в землю, выставили охранение, поскольку известно: шастают гансы в наши тылы.

Справа доносился приглушенный гул артиллерийской канонады – там Ольховка. Там и южнее, перед Мясным Бором, шли жестокие бои за Спасскую Полисть, из нее противник угро-

жал коммуникациям Второй Ударной. А здесь пока было тихо. Неподалеку тарахтели неутомимые У-2, немцы их прозвали швейными машинками. Они заходили на вражеские окопы и бросали вниз небольшие бомбы. Урону крупного не производили, но пришельцев держали в постоянном страхе и нервной подвешенности.

– Земляк, – сказал Дружинину старший сержант Алексей Шилин, командир соседней пушки, он пришел Анатолия навестить и разжиться у него махоркой на пару заверток, – в тылу у нас немецкие траншеи и блиндажи. А если кто прячется там? Обследовать потребно.

– Что ж, обследуй, – согласился Дружинин. – От нас Киреева возьми. Да пусть прихватит пару «лимонок». Только вы, ребята, не трогайте барахло. Фонарики там, ручки, портсигары... Минируют их. Без рук останетесь, не клюйте на приманку.

Добрались до траншеи. Киреев остался снаружи, на всякий случай, а Шилин спустился в уцелевший блиндаж и осветил его. На нижних нарах лежал в луже крови немецкий офицер.

– Сюда, Киреев! – заорал старший сержант. – Нашел! Есть тут одна недобитая падаль. Бросили ее с перебитыми ногами.

Вошел Киреев, мельком взглянул на офицера и сказал:

– Смотри, лампа целая. Керосиновая и со стеклом. Богато живут, приשמандовки.

Он засветил лампу и подошел с ней к нарам, где стоял возле немца Алексей Шилин.

– Перевязывать его надо, однако, – задумчиво проговорил старший сержант. – Теперь он уже не вояка и все ж таки человек.

– Вяжи, – согласился Киреев. – Если очухается, «язык» твой будет, старшой. «Боевые заслуги» схлопочешь.

– Вместе нашли, вместе ж и заслуги делить, – отозвался Шилин и повернул офицера, чтобы заняться удобнее с ним.

Тот разлепил опухшие губы и забормотал в бреду по-немецки.

Шилин ворчал, перевязывая немца. А тот вдруг раскрыл глаза. Поначалу ничего не понял, а потом различил стоявшего рядом ивана, попытался отодвинуться, зашептал:

– Русс иван капут... Москау капут... Хайль Гитлер!

Он попытался поднять руку в нацистском приветствии, но сумел лишь немного оторвать ее от беспомощного тела.

– Ну ты даешь, падла! – возмутился Шилин и перестал перевязывать. – Ему помощь, понимаешь ты, а он, кровосос дремучий, фюреру честь отдает! Ты мне, сука, русскому сержанту, козыряй! И пощады проси, курвец несчастный!

Крик Алексея придал Вильгельму Гаузе силы. Окровавленной рукой достал из-под себя «парабеллум», но молча следивший за ним Киреев выбил пистолет.

Отогнув край ватного одеяла, что завешивало вход, вошел водитель тягача Гриша Володарский. Остановился в дверях, не опуская одеяла, и морозный воздух ворвался в блиндаж. Гауптман жадно задышал, судорожно раскрывая рот. Лицо его стало осмысленным, искривилось презрительной гримасой, он приподнялся на локте.

– Русские свиньи! – тихо, но внятно произнес Вильгельм Гаузе. – Капут! Всем вам капут! Хайль Гитлер!

– Поц ты проклятый, – сказал немцу Гриша Володарский. – Поц ты – и больше никто. Поцелуй меня в зад.

Последнюю фразу он произнес для Шилина и наводчика непонятно, и гауптман встрепенулся.

– А, – сказал он, усмехнувшись, – юде... Шаезе юде? Юде капут!

Гриша взвизгнул, метнулся по блиндажу, увидел на столе «парабеллум», его положил туда Киреев, ткнул стволом в грудь офицера и нажал на спуск. Патрон был на месте, видно, гауптман стрелял из «парабеллума» в недавнем бою. Выстрел в упор отбросил офицера, он упал навзничь и сразу затих.

– Не дело, Гриша, – сказал, помолчав, Киреев. – Вреда от него уже нет, а пользу извлечь можно было.

– Извлечь! – скрипнул зубами Володарский. – А какую пользу он получил, расстреляв моих стариков? Что ему сделали они, какой вред от старых людей? Бить их надо, без пощады бить! И правых, и виноватых. Весь их поганый род под корень!

Шилин ничего не говорил. Он подошел к противоположным нарам и стал разбрасывать поношенные теплые вещи.

– Смотрите, братцы, – сказал он. – Прижал мороз голубчиков, в бабы платки рядиться стали. Отбирают полушубки у мужиков.

Вдруг нары закрипели, куча тряпья зашевелилась, и из-под нее выполз на свет молодой белобрысый солдат. Будто подтверждая последние слова старшего сержанта, был он укутан в женскую шерстяную шаль, поверх сапог – огромные соломенные боты. Глаза солдата прикрывали роговые очки, сквозь очки было видно, как испуганно глядел он на русских.

Солдат поднял руки и забормотал:

– Гитлер капут! Русский камрад гут! Гитлер никс гут!

– В плен захотел, собака! – закричал Гриша Володарский. – А пулю не хочешь?

– Остынь, – сказал Шилин. – Раздухарился ты сегодня.

– Застрелю пса! – сунул «парабеллум» в лицо солдату Володарский.

Киреев оттолкнул его и вырвал из рук «парабеллум».

– Что это с тобой, Гришаня? – ласково спросил он. – Он ведь безоружный. И сам сдался... А ты с пистолетом, да и трое нас на одного. Нехорошо, брат Григорий.

Володарский, шатаясь, подошел к лавке, сел на нее, руки положил на стол и опустил на них голову.

– Как зовут? – спросил Шилин, он знал немного немецкий.

– Йозеф Гауптман. Берлин, Фридрихштрассе, шесть, – с готовностью ответил тот. – Был денщиком у господина капитана.

– Что ж ты его не перевязал, денщик хренов? – заметил Киреев. – И даже защитить не попытался. Я б на твоём месте так с пяток бы здесь уложил, не менее.

Йозеф Гауптман выпучился на него, не понимая.

– Вас ист дас? – сказал он.

– Вот именно вас, – пробормотал Киреев и пренебрежительно махнул: – Видел я вас на одном месте...

В блиндаже вдруг послышались странные звуки. Они огляделись и увидели, что это плачет Гриша Володарский.

– Ты чего это, дурила? – спросил Шилин и несильно тряхнул Гришу за плечо.

Водитель тягача поднял заплаканное лицо.

– Ребята, – всхлипывая, сказал Володарский, – это до чего же я озверел!.. Убил раненого человека. И пленного застрелить хотел! В какого волка они превратили меня! Что сказала бы на это моя бедная мама?

34

К началу февраля тяжелые бои на территории, которую Вторая Ударная армия освободила от захватчиков, еще более ожесточились. Кавалерийский корпус Гусева, находившийся до того в резерве Мерецкова, и стрелковая дивизия полковника Рогинского, войдя в прорыв у Мясного Бора, стали стремительно продвигаться в северо-западном направлении, охватывая чудовскую группировку гитлеровцев. Конники Гусева шли на Ольховку и Финев Луг.

Противник в спешном порядке ставил на пути заслоны, но пока кавалеристы относительно легко их сбивали. За пять дней корпус продвинулся на сорок пять километров от Мясного Бора.

Сразу наметилась определенная закономерность в поведении обороняющихся немцев. Когда кавалерийский корпус, а также идущие на острие главного удара 327-я дивизия Антюфеева и 59-я стрелковая бригада продвигались на север и северо-запад, все шло относительно нормально. Пришельцы оказывали сопротивление. Оно хотя и с трудом, но преодолевалось яростным и неудержимым авангардом Второй Ударной. Стоило же взять правее, попытаться приблизиться к Октябрьской железной дороге и вообще двигаться в этом направлении, как сопротивление гитлеровцев резко возрастало. Создавалось впечатление, что противник стремится выжать армию генерала Клыкова в малонаселенные пространства, покрытые гиблыми болотами, лишённые транспортных магистралей.

Вскоре наши соединения полностью овладели железной дорогой Новгород – Ленинград на участке Село Гора – станция Еглино. Но беда заключалась в том, что эта дорога вела в никуда... На юге был занятый врагом Новгород, на севере – блокированный Ленинград. До следующей дороги, лежащей западнее и ведущей из Питера в Сольцы, добраться не успели, да это ничего бы и не дало – концы ее опять-таки вели к врагу. Вот бы взять Любань и окружить немцев в Чудове! И бесформенный мешок, каким представлялась на карте освобожденная Второй Ударной русская земля, стал выбрасывать отросток на северо-восток, в сторону Любани.

Надо сказать, что никакой нарочитости в том, что противник слабее сопротивлялся в стороне от Октябрьской дороги, не было. Попросту немцы не создали там сплошной линии обороны и, захваченные врасплох, постепенно отдавали, не без боя конечно, укрепленные пункты. В то же время, чем больше расширяла армия боевые действия, тем длиннее становилась линия ее фронта, появились дополнительные напряжения и трудности. Когда началось наступление, Вторая Ударная армия действовала в полосе шириной двадцать – двадцать пять километров. А в момент наибольшего успеха линия фронта достигла двухсот километров. Конечно, командование фронта тут же принялось укреплять армию за счет соседей, но двести километров передовой линии – это не бык на палочке... И вот тогда обнаружились просчеты в управлении войсками.

Наступил февраль. В первый день месяца, на рассвете, выдвинутые вперед разъезды 87-й кавалерийской дивизии уткнулись в укрепленный пункт Ручьи. За Ручьями лежал Апраксин Бор, потом Вороний Остров, а там и рукой подать до Любани. Но конники опоздали. Воздушная разведка противника засекла движение дивизии полковника Трантина. Германское командование спешным порядком бросило сюда резервы, подтянуло артиллерию и танки, лихорадочно торопясь создать линию обороны, чтобы связать Кривино, Ручьи и Червинскую Луку.

35

Подвел, как говорится, под монастырь командира роты его связной Василий Веселов. Случилось это, когда они прибыли в распоряжение 176-го стрелкового полка, которым командовал Иван Дорофеевич Соболев. Уже в штабе 46-й дивизии, куда откомандировали их из бригады полковника Жильцова, Кружилин узнал, что его новый комполка человек обстрелянный, отличился в боях за Малую Вишеру, что он грамотный командир, требовательный, порядок любит и четкость исполнения приказов. Что ж, без таких качеств командир на войне вовсе не командир.

Но самого Соболя Кружилин так и не увидел. Встретил старшего лейтенанта начальник штаба. Расспросил, где воевал, сколько в роте штыков, какова она по составу. Довольно улыбнулся, узнав, что Кружилин был на Финской, а все солдаты роты форсировали Волхов еще

в январе. Правда, осталось их всего половина от штатного списка, но каждый из оставшихся пяти новобранцев стоит.

– Пошлю тебя во второй батальон, – сказал начальник штаба. – С командиром полка вопрос согласован, и комбат-два в курсе дела. Бери их связного в провожатые и дуй на передок с парнями. Во втором у нас потери большие, вот и укрепишь.

Хотел Олег спросить о легендарном Соболе у начштаба, да подумал, что это будет выглядеть неуместным, мальчишеское любопытство, и только, не к лицу ветерану, каким считал себя Кружилин.

«Еще увидимся, – подумал командир роты, – какие наши годы... Говорят, что Соболю с переднего края не вылезает, так что ко мне в роту пожаловать не преминет».

Комбат оказался веселым и свойским парнем, одногодком Олега и тоже участником финской войны. Только воевал он севернее, в районе Суомуссалми. Был тогда комбат Хлыстун взводным, только что училище окончил и прибыл с Украины в снега и морозы Карелии. Финны дали им углубиться на их территорию, заманили в глухие леса, заваленные сугробами, затем обошли с флангов лыжными батальонами, отрезали пути отхода.

– И стали нас кончать, как голых цуциков, – рассказывал Хлыстун за ужином, который устроил в честь нового ротного, когда узнал, что они одну и ту же кампанию тянули, хотя и в разных местах.

– А ты, значит, на линии Маннергейма хлопотал?

– На ней самой, – отвечал Олег. – Все в лоб и в лоб!

– Вот именно, в лоб! – помрачнев, в рифму выругался комбат. – Я тогда под Суомуссалми ноги поморозил, чудом выбрался из катавасии. Отнимать левый мосол хотели. Гангрена, дескать... Но обошлось. Вот и воюю. А так бы сейчас в Ашхабаде семечками торговал, в эвакуации. Хотя нет, с Украины бы не поехал, в партизаны б ушел или в подполье, там ведь и безногие годятся.

– А все ж лучше с ногами, – проговорил Олег.

– У тебя все бойцы в валенках? – спросил комбат, ковыряя ложкой в банке с разогретой тушенкой.

– Все, – ответил Кружилин. – У меня старшина толковый.

– Это здорово! А тогда, в Карелии... Не приведи бог! Окружили нас финны и давай долбать. Сколько народу положили! И все ни за хрен собачий. Туда бы лыжников, сибиряков послать, а не нас, хохлов морозонеустойчивых. Да что там! В нашей дивизии даже кавказские парни были. И с автоматами финны все, как один, у нас же тогда об автоматах и не слыхали, в руках их никто не держал.

– Да, дегтяревский уже после финской войны появился.

– А где он сейчас, дегтяревский? – горько спросил Хлыстун. – У меня в батальоне ППД у разведчиков только имеются, ну и у автоматчиков во взводе...

– В моей роте у всех помкомвзводов и командиров отделений есть, – заметил Олег.

– Богато живешь, старшой. Раскулачу, ежели что. Ладно, шучу... Я вот как-то заявил в штабе полка: надо, мол, у немцев автоматы ихние отбирать и потихоньку вооружать красноармейцев. Пусть сами добывают у гансов патроны и бьют фашистов. Так меня в Особый отдел потянули.

– За что? – удивился Кружилин.

– За публичное восхваление вражеского оружия, пропаганду немецкого превосходства. Так-то вот, брат Кружилин. Спасибо Соболю – отбил. Мы ведь с ним Малую Вишеру брали вместе.

– Слышал я про Соболя. Толковый, говорят, мужик.

– С ним не пропадешь, это точно! А вот когда с чухонцами схлестнулись да надавали они нам физдюлей, у меня в госпитале едва мозги не свернулись набекрень. Как же так случилось,

что маленькая Финляндия с ее тремя миллионами населения сумела нас, шестую часть мира, больно щелкнуть по носу?

– Их побольше будет, финнов, – сказал Олег, – три миллиона и восемьсот тысяч.

– Один хрен, – махнул комбат, – какая разница... Вся ихняя армия после поголовной мобилизации не составляла и трехсот тысяч человек вместе с шюцкоровцами. Эти дрались как черти.

– Недооценивали мы финнов, – вздохнул Кружилин. – Вот и вляпались. Ведь поначалу хотели войсками одного Ленинградского военного округа их задавить, да не вышло. Объявили частичную мобилизацию, добровольцев послали. Я сам тогда ушел, прямо из университета.

– По-доброму на лыжах ходишь? – спросил Хлыстун.

– Чемпион Ленинграда, – просто сказал Олег.

– Да ты же бесценный парень! – восхитился комбат. – Тебе бы разведротой командовать. И немецкий, небось, знаешь?

– Говорю и читаю свободно.

Хлыстун закрутил головой:

– Нет, заберут тебя из батальона, Кружилин, заберут. Как до сих пор не засекли такого командира роты – даже странно. Ты вот тогда скажи мне: правда, что линию Маннергейма вся Европа строила?

– Вся не вся, а иностранных специалистов финны привлекали. Там они такого понастроили! Елки-палки... Особенно запомнился мне дот «Миллионный». Крепкий был орешек!

– Сволочи, – сказал комбат, – готовились как надо. А мы их кулаками хотели... И чего они зуб на нас заимели?

– Финнов ведь тоже надо понять, – проговорил Кружилин, ощупывая в кармане пустой кисет. – Одурманенные пропагандой Маннергейма, они поверили, что мы спим и видим, как бы напасть на них. Вот и старались изо всех сил. Ведь такие укрепления на границе, как линия Маннергейма, строят не для нападения, а на предмет защиты. Финны считали нас опасным соседом, от которого лучше отгородиться неприступной стеной. Не забывай, комбат, что долгие годы эта территория находилась под властью русских царей. Ведь Романовы, занимавшие российский престол, имели помимо других и титул «Великий князь Финляндский».

...Они оба сражались в заваленных снегами лесах Карельской земли, но многого не знали, Хлыстун и Кружилин. Они располагали официальной информацией о том, что Советское правительство, обеспокоенное захватнической политикой Гитлера и тесными связями его с крайне реакционными кругами Финляндии, хотело отодвинуть финскую границу на Карельском перешейке так, чтобы Ленинград был вне зоны действия дальнобойной артиллерии. В обмен на это Советский Союз якобы предлагал Финляндии районы Реболы и Порайори. Это позволяло финнам расширить собственное пространство в узком месте, не причиняло никакого ущерба их безопасности, но лишало Германию возможности использовать просимую Советским правительством землю в качестве плацдарма для нападения. Более того, дополнительные площади, которые Советский Союз отдавал в качестве компенсаций, более чем вдвое превышали размер территорий, о которых он просил.

Однако эти предложения, составленные, мол, на аргументированной и рациональной основе, финны отвергли. Более того, как было объявлено советскому народу и всему миру, 26 ноября 1939 года финны обстреляли приграничную полосу Советского Союза. В условиях когда русский медведь предъявил маленькой Финляндии ультиматум, это было равносильно самоубийству, а потому и выглядело неправдоподобно. Финны призвали совместно расследовать инцидент, но их предложение было отвергнуто. А через день Советский Союз расторг с северным соседом пакт о ненападении. Уже 29 ноября Москва заявила о том, что финны предприняли новые нападения на советскую территорию. Дипломатические отношения были

разорваны, и 30 ноября началась война, представленная советским людям как отражение наглой агрессии финских милитаристов.

Откуда было знать Кружилину и Хлыстуну о том, что Сталин всегда считал предоставление Лениным самостоятельности финнам политической и государственной ошибкой? Ведь он давно вынашивал логический замысел войти в историю человечества как великий собиратель земель, некогда принадлежавших Российской империи.

Большая удача с разделом Польши, а особенно Договор о границах и дружбе, подписанный с гитлеровской Германией 28 сентября в Москве, вдохновили Сталина. Новое соглашение с фюрером устанавливало сферы влияния обеих держав и определяло отказ Германии от ее интересов в прибалтийских лимитрофах, Бессарабии и Финляндии. Договор о границах и дружбе с рейхом развязывал Сталину руки...

Когда началась война с Финляндией, последняя обратилась 3 декабря к Лиге Наций за поддержкой и защитой. На призыв Лиги Наций прекратить военные действия Сталин велел ответить, что Советский Союз не ведет никакой войны с Финляндией. Ведь он 2 декабря 1939 года заключил Договор о взаимопомощи и дружбе с Финляндской Демократической Республикой, правительство которой находилось в Териоки, на советской территории. А те, что в Хельсинки, просто шайка агрессоров и авантюристов, которых финский народ жаждет выбросить вон из страны, с помощью Красной Армии, разумеется...

Именно правительство в Териоки и просило Советский Союз 1 декабря 1939 года помочь устранить опасный очаг войны, который создан в Финляндии ее бывшими правителями.

Одновременно Карельская автономная республика была преобразована в союзную Карело-Финскую, и мир, уже начинавший постигать внешнеполитические приемы вождя всех времен и народов, приготовился присутствовать при исчезновении Финского государства.

...Начальный период военных действий сложился для Красной Армии неудачно. Это повлекло усиление на Западе общей тенденции к недооценке мощи Советского Союза. Выступая 20 января 1940 года по радио, Уинстон Черчилль заявил, что советско-финляндская война «открыла всему миру слабость Красной Армии». Это ошибочное мнение в какой-то степени разделял и Гитлер.

Но если беспристрастно разобраться в событиях того времени, то истинные причины наших неудач крылись в объективных условиях, в которых проводились боевые действия. Обилие естественных препятствий, снежная и морозная зима, густая сеть озер и лесов, отсутствие надежных дорог, идущих из внутренних районов страны к финской границе. Имела место и недооценка возможностей противника, его вооружения и моральной стойкости войск.

Новое наступление под командованием Мерецкова, начавшееся 11 февраля 1940 года, меньше чем за две недели прорвало оборону финнов на глубину линии Маннергейма. Советские войска обошли оба ее фланга и двинулись на Выборг, совершая одновременно широкий обходный маневр. Поражение Финляндии стало неизбежным, и 6 марта 1940 года ее правительство запросило мира.

На этот раз, несмотря на вовсе другие условия, новые советские требования были исключительно умеренными. Спohватившись, Сталин поступил по принуждению обстоятельств, ограничившись выполнением программы-минимум.

...Но откуда было все это знать командирам? Они дрались на той, «местного значения», войне и теперь сражались на самом трудном фронте Отечественной. Пролитая в бою кровь, она вовсе не обязательный предвестник смерти. Не убили в финскую, авось и эту выдюжим...

– Давай за победу, – предложил Кружилин.

– За победу можно... Все равно оторвем им башку, – сказал Хлыстун. – И фюреру ихнему, и всей его братии.

– Естественно, – отозвался Олег. – Куда они денутся!

Помолчали. Затем Хлыстун пододвинул к себе вещмешок, достал пачку махорки, протянул Олегу:

– Бери, командир. Редкая вещь – моршанская махра с красной надписью. Да ты спрячь про запас! А пока крути сигарку из моего кисета, закуривай.

– Хороша, – сказал Кружилин, затянувшись едким дымом. – Аж селезенку щекочет.

– Знаешь, как маялся тогда в Карелии без курева. Не знаю, что больше – ноги от мороза или уши без курева опухли. А в госпитале закурил, будто на свет заново родился. Там и про нашего комдива узнал. Арестовали его. Говорили, что из Москвы сам Мехлис приезжал, требовал его расстрелять за потерю управления. Но вроде до этого не дошло.

– Расстрелять – дело нехитрое, – заметил Кружилин.

Ему и невдомек было, что самому не далее как к утру реально будет угрожать «нехитрое дело». А подвел его под возможный расстрел верный и расторопный связной Веселов.

36

– Послушай, Руди, – сказал Вильгельм Земпер. – Ты у нас большая голова. Не объяснишь ли мне, что значит медвежья болезнь?

– С чего ты вдруг заинтересовался ею? – спросил Пикерт.

Он едва спасся тогда, в день русского наступления. Многих солдат из их роты недосчитались после залпов дьявольских «катюш». Дивизию спешным порядком переформировали и отвели на станцию Спасская Полисть. А Мостки пришлось отдать русским. Спасская Полисть стала главным бастионом обороны. Севернее ее, вдоль шоссе и железной дороги Новгород – Чудово, в их руках оставались поселки Коляжко, Свинец, Глушица, Лядно и Холопья Полисть. А там рядом и Чудово, за которое надо держаться изо всех сил. Захват станции русскими обрекал на гибель тех, кто оставался в Любани, они теряли отличный плацдарм, который приковывал к себе четыре армии большевиков. Выдвинутый же в южном направлении от Чудово выступ со Спасской Полистью на острие постоянно угрожал коммуникациям Второй Ударной армии у Мясного Бора. Этот выступ необходимо было усиливать, не жалея ни солдат, ни боеприпасов.

«Пусть красные и прорвались в наши тылы и идут по бездорожью, безлюдным лесам и гиблым болотам на помощь Петербургу, – успокаивали себя немцы. – Пока мы в Спасской Полисти, а напротив, по ту сторону прорыва, в Подберезье стойко борются солдаты фюрера, противник не может быть спокоен за свои тылы». Они упрямо держались за станцию. Бои ожесточались, красные будто с цепи сорвались, лезли и лезли на укрепленные пункты, атаковали постоянно, особенно ночью, и немецкое командование понимало, что, будь у них поддержка с воздуха да усиленный артиллерийский огонь, Спасскую Полисть вермахту не удержать.

И Вилли Земперу, и Дребберу, и Пикерту до сих пор везло – пули их миновали. Правда, Руди крепко трянуло ближним разрывом снаряда, но, к счастью, он отделался тем, что неделю плохо слышал. Теперь рота обер-лейтенанта Шютце занимала позиции на берегу реки Глушица, к западу от Спасской Полисти. До войны здесь был хутор, сейчас от него не осталось ни одного строения. Но еще осенью саперы открыли на сухом месте добрые четырехнакатные блиндажи, между бревнами наката положили слой фанеры, и потому земля не сыпалась сверху даже от близких разрывов, стены обшили струганными досками.

Жилось в таких блиндажах тепло и уютно. Да если б еще не беспокоили атаки русских, которые не признавали никаких правил и дрались ночью, дрались в то время, когда доставляли обед, дрались по воскресеньям и в будние дни. Заступавшие на посты часовые изо всех сил таращили глаза в черную ночь: разведчики противника всю охотились за «языками». Они сознавали, как важна их роль на этих позициях, которые надо удерживать любой ценой. Но от понимания того, что испытываемые ими лишения помогают фюреру одерживать великую победу над Россией, легче не становилось.

Приносили оживление письма с родины, правда, порой они раздражали своей наивностью и полным непониманием домочадцами того, что происходит в России. Разряжали обстановку анекдоты, грубые розыгрыши, игра в скат, рассказы о приключениях в отпуске и в довоенной жизни и, разумеется, постоянные разговоры о женщинах и о том, что всегда связано с ними. Тут уж изощрялись кто во что горазд, хотя торжественные панегирики в честь собственного мужского ухарства и сексуальной доблести были на три четверти сочинены.

– Так кто тебе говорил про медвежью болезнь? – спросил Руди Пикерт у Вилли Земпера.

– Покойный фельдфебель Фауст, – ответил баварец. – Сейчас вдруг вспомнил, как незадолго до того боя, когда рыжий Иван заколол его штыком, я просил включить меня в группу, которая отправлялась за «языком».

– Хотел получить медальку на мундир? – поддел Руди приятеля. – Ты слышишь, Ганс? Наш Вилли мечтал отличиться, а от нас, товарищей, это скрывал.

Дреббер не ответил. Он писал письмо в Гамбург, порой останавливался, видимо вспоминая домашних, взгляд его теплел, и Ганс мурлыкал под нос любимую песенку: «...он придет, день священной мести! Мы добудем свободу в бою... Пробудись, трудовая Германия, кабалу разорви свою!»

– И что же ответил тебе покойный Фауст, в отличие от своего знаменитого тезки не сумевший стать бессмертным?

– Он сказал, что доложит обер-лейтенанту Шютце, только пусть я не буду на него в претензии, когда на той стороне попадусь к русским в лапы и меня прихватит медвежья болезнь. Это что-нибудь заразное?

Руди расхохотался. Ганс оторвался от письма и улыбнулся.

– Старый солдат, – говорил сквозь смех Пикерт, – старый солдат Вилли Земпер, гроза иванов, лучший снайпер полка, не знал про медвежью болезнь... Вот это да! Нет, Вилли, не заразна эта болезнь, как не заразна детская испачканная пеленка! Немного вони и последующая стирка кальсон, если тебе жалко их выбросить, – вот и вся медвежья болезнь.

Земпер растерянно моргал, переводя взгляд с Ганса на Руди, постепенно до него доходило.

– Вот дерьмо! – выругался он. – Значит, этот дохлый теперь толстяк намекал, что я в состоянии обделаться со страха?

– Не только намекал, Вилли, он прямо имел это в виду, – подал голос Ганс Дреббер. – Но я думаю, что Фауст был несправедлив к тебе, дружище.

– Прохвост! – сказал Вилли и перекрестился. – Не надо так о мертвом, но уж очень он меня обидел. Тех, кто делал в штаны, мне видеть приходилось. Неприятная штука, скажу вам, ребята. Неужели это может случиться с любым?

– Это происходит независимо от воли человека, – проговорил Руди. – Непроизвольно, понимаешь, Вилли, в момент сильного испуга наступает своеобразный шок. Проявляется он, ты знаешь, видел новичков в первом бою, по-разному. И вот у некоторых возникает временный паралич сфинктера...

– Чего-чего? – перебил его Земпер. – Как ты сказал?

– Паралич сфинктера, Вилли. Это такой вроде бы клапан...

– Запирающий твою задницу, – вмешался Ганс Дреббер.

– Идите вы сами в нее! Дурачите мне голову!

– Ты послушай, – улыбнулся Руди. – Ведь сам затеял разговор. Так вот, испуганный мозг, буду объяснять тебе популярно, запутывается и посылает сфинктеру ложный сигнал: раскрыться! Тот, стало быть, разжимается и перестает удерживать кал, предоставляя это делать кальсонам. Вот и вся механика, дорогой Земпер.

– Ну и ну, – покрутил головой Вилли, – чего не узнаешь, воюя вместе с такими умниками. И это может с любым случиться?

- В принципе с любым, – ответил Пикерт.
- Только не со мной, – заявил Земпер. – В моем роду не водились засранцы!
- Это легко проверить, – снова подал голос Ганс Дреббер. – И заодно сделать приятное для товарищей...
- Ты что придумал, Ганс? – поинтересовался Руди.
- Что бы ты сказал по поводу жареной картошки, Руди?
- Сlopал бы котелок, даже если она будет приготовлена на «обезьяньем сале» – маргарине.
- Тогда слушай, Вилли. Ты знаешь сожженный сарай на ничейной земле на нашем правом фланге?
- Знаю, – ответил Земпер. – На прошлой неделе я подстрелил рядом с ним ивана.
- Так вот. Мой земляк из третьей роты, ефрейтор Генрих Блюхер, под большим секретом рассказал, что под сараем сохранился погреб, а в погребе лежит картошка. Там есть лаз под обрушившуюся кровлю, она упала так, что образовался низкий навес. Проникаешь туда, находишь люк, открываешь его и насыпаешь в ранец картошки. Возвращаешься обратно, и мы устраиваем пир.
- И всего-то? – возмутился Земпер. – Невысоко же ты ценишь солдатскую доблесть фронтового товарища.
- погоди, – остановил его Дреббер, – не кипятись, Вилли. Сходить в тот сарай – дело не простое. Генрих Блюхер предупредил меня, что про картошку эту известно русским. И те по ночам наведываются туда...

37

- Значит, вы отрицаете преднамеренность ваших действий?
- Безусловно. Я говорил уже об этом другому товарищу.
- Сотруднику. Наши люди для вас сотрудники Особого отдела, старший лейтенант.
- Понятно. Уже и товарищем не могу вас именовать. А меня вы по званию величаете. Не разжаловали еще?
- Нет, не разжаловали. Вы находитесь под следствием как командир Красной Армии, обвиненный в преднамеренном членовредительстве. Разжалует вас трибунал, когда вынесет обвинительный приговор.
- Вы уверены, что дойдет до трибунала?
- На войне и не такое бывает.
- Но ведь это же бред какой-то!
- Не скажите. В моей практике всякое случалось.
- А честные люди в вашей практике встречались?
- Оскорбить меня хотите, старший лейтенант? Не стоит. Нутром чую, что вы говорите правду. Но вот нутро свое вывернуть и пристукнуть, как печатью, листки с протоколом допроса не в состоянии. Необходимы доказательства. А где они, кроме ваших показаний, свидетельства врача да истерических воплей красноармейца Веселова, который обвиняет во всем себя и просит расстрелять его вместо вас, командира роты? И то сказать – положение необычное. Не поверят вам в трибунале.
- Но ведь я прошу медиков оставить меня в роте!
- Нельзя. Характер травмы не позволяет. Это раз. И потом, вам скажут, что вы заговорили так после разоблачения. А до того стремились удрать с передовой, для чего и совершили самострел.
- Круг замкнулся. Выхода не было. Его допрашивали в четвертый раз. Сначала молодой особист Лабутин, а сейчас вот этот, пожилой. Как он назвал себя? Беляков, кажется.

- Как ваше имя и отчество? – спросил Кружилин.
- Фрол Игнатьевич, – ответил слегка удивленный Беляков.
- Мне можно вас так называть?

Белякову нравился этот комроты. Надо же случиться такому, угораздило парня попасть в переплет! Фрол Игнатьевич встречал на войне трусов: дезертиров, самострелов... Попадались и явные враги: предатели, перебежчики, пособники оккупантов. Скольких он повидал на чекистском веку! А этот был другой. Только вот как его выпутать из дела? Машина закрутилась, следствие начал вести Лабутин, он и заварил эту кашу, случайно встретив Кружилина в полковом медпункте.

...А виноват во всем был Вася Веселов. Собственно говоря, его ведь тоже винить можно было лишь косвенно. Дурацкая история произошла в ту ночь, когда Олег Кружилин вернулся от гостеприимного комбата Хлыстуна в роту.

Он обошел бойцов, устроившихся кое-как с ночлегом: красноармейцы расположились в едва обжитых местах, которые занимали те, кому пришли они на смену. Потом вернулся к себе, в отбитый у немцев дзот. Он был немного покалечен прямым попаданием 82-миллиметровой мины, но жилье в нем Веселов успел оборудовать сносное. В дзоте сохранилась и железная печка заводского изготовления с пламегасителем на трубе. Гансы ставили их в каждом жилом помещении. У этой не было дверцы, ее Веселов не обнаружил.

А Кружилин ему наказывал:

– Пока огонь в печке горит, спать не ложись, следи. Я, пожалуй, сосну немного. Протопишь, тогда и сам заваливайся.

Олег не спал две ночи подряд, пока добирался к новому месту службы. А комбат намекал, что утром ожидается на позициях Соболев, надо будет еще до рассвета быть на ногах, проверить готовность бойцов и ждать командира полка или сигнала идти в атаку.

Он уснул, едва коснулся головой вещмешка, на который положил ушанку. Валенки Кружилин снял, пусть просохнут, а чтоб ноги не зябли, натянул на них шерстяные носки, что получил с подарком из Киргизии недавно, портянки развесил, чтоб проветрились, лишились малость тяжелого духа.

Командир спал в гимнастерке и ватных брюках. Олег не стал производить обычный поиск насекомых: крепко устал и, признаться, не верил в эффективность вылавливания вшей вручную. Вот отдать всю одежду в прожарку – это дело. На крайний случай пропитать бы белье раствором особого мыла «К», говорят, на два месяца действует, вши его будто боятся. Но про это мыло были пока одни разговоры, никто его в натуре не видел.

А Веселов разделся и стал трясти рубаху над раскаленной печкой. Вши падали и трещали, а Веселов улыбался. Нравилось ему казнить насекомых огнем... «Мясным духом потянуло», – говаривал при этом Веселов и ухмылялся. Только делал он это так, чтоб старший лейтенант не видел. Ко всему был приучен Кружилин, брезгливостью не отличался, а эти веселовские штучки не переносил.

Закончив, связной натянул рубаху с гимнастеркой, подумал, что не худо бы и кальсоны обыскать, да надоело уже. Огонь в печке поубавился, дрова догорали. Веселов решил подтопить, только сосновые уже кончились, оставалось несколько березовых полешек, он и сунул их в огонь, пусть, дескать, догорают.

Спать Веселов не собирался – надо за огнем следить. Но прислонился к столбу, поддерживающему накат, и незаметно уснул. А березовые дрова, попавшие в сильный жар, занялись сразу и пылко, треща и стреляя искрами...

Кружилину снилась Марьяна. Он гулял с ней по Летнему саду и рассказывал об установленных в нем скульптурах. Марьяна слушала прилежно и только порой загадочно поглядывала на Олега. Подошли к дедушке Крылову, который спокойно сидел, окруженный героями басен,

и добродушно смотрел на них сверху. Кружилин вдруг почувствовал ломоту в ногах, особенно в правой, из которой вырвало осенью кусок мяса.

– Не устала, Марьяна? – спросил Олег.

– Давай посидим, Олежек, – сразу согласилась она, и у Кружилина сразу потеплело на сердце: первый раз Марьяна назвала его так, как в детстве называла мама!

Едва они присели на скамью, в глубине одной из аллей послышались лай собаки и крики испуганных людей. К ним бежала громадная серая овчарка. Она обогнула памятник Крылову и легкой трусцой молча направилась прямо к Олегу. Он хотел подняться, но будто задеревенел вовсе. А Марьяна вскочила на скамейку и в ужасе смотрела на собаку.

– Олег, Олег! – крикнула Марьяна, но Кружилин сидел неподвижно. Он сразу увидел, что собака была необычной, с человеческой головой. Она приблизилась вплотную, поставила лапы на колени, и Олег вдруг понял, что в лицо ему смотрит Гитлер.

Он выглядел таким же, как Олег привык его видеть на карикатурах. Узкий длинный подбородок, усики, темная челка, свисающая над левым глазом, тонкие губы... Гитлер разжал их, и Кружилин внутренне вздрогнул, увидев, как обнажились острые клыки. Боковым зрением Олег сумел рассмотреть, как за спиной у Марьяны выросли крылья. Они были прозрачными, как у стрекозы, и трепетали, вспыхивая на солнце радужными бликами. Марьяна взмахнула крыльями и вспорхнула над аллеей Летнего сада. Вот она сделала круг, второй, поднимаясь все выше и выше.

– Прощай, Олежек, прощай! – донеслось из поднебесья, и Марьяна растаяла, растворилась в лучах ласкового солнца.

А Гитлер-собака гавкнул Олегу в лицо и вцепился клыками в правую ногу. Кружилин ощутил боль, почувствовал, что левая теперь слушается его, и стал бить оборотня свободной ногой, но тот сильнее стискивал челюсти. Боль сделалась нестерпимой, и старший лейтенант проснулся.

Дрова в печке прогорели, но тепла от нее еще не было. В открытую дверцу видно было, как рдели подернутые пеплом угли. Фитилек коптилки погас. Слышался мирный храп Веселова. Ноздри Олега ощутили едкий дым сгоревшей ткани.

Олег резко поднялся, боль ударила по ноге, и теперь он увидел, что на нем тлеют ватные брюки...

...– Дрова березовые были, понимаете, доктор, – сконфуженно объяснял Олег врачу на полковом медпункте. – Уснули мы, значит, с Веселовым, а они, дрова то есть, стрельнули угольком.

– Понятное дело, – говорил врач, осматривая серьезный ожог, который заполучил Кружилин. – Такое бывает. Большой недосып, усталость. Сильное торможение нервных центров, отключилась чувствительность... Надо отправлять в медсанбат. Сейчас вы не вояка, старший лейтенант. Недели две, а то и целых три, в лежачем состоянии. Передвигаться хоть можете?

– Медленно и с костылем, – ответил Олег. – Вон палка моя.

– С костылем в атаку роту не поведешь, – сказал врач. – Скоро отправятся санитарные сани в медсанбат. А пока справку вам дадим.

– Погодите со справкой, товарищ военврач третьего ранга, – сказал, поднимаясь, неизвестный Кружилину командир. Он сидел в углу и молчал, пока сестра перевязывала ему руку, прислушивался к разговору. – Со справкой успеется. Перевяжите его пока. Я сам отвезу старшего лейтенанта... в Особый отдел.

Бригада выдохлась на подступах к деревням Большое и Малое Еглино и железнодорожному разъезду, перешла к обороне. От немцев ее отделяла хорошо простреливаемая долина

речушки Еглинки, используемая под огороды. Здесь, на перекрестке двух железных дорог, немцы соорудили мощный узел сопротивления, взять его с ходу измотанная в предыдущих боях 59-я отдельная стрелковая бригада не смогла. Она крайне нуждалась в пополнении людьми, боеприпасами, необходимо было подтянуть тылы, бригадную медицину, да и отдохнуть красноармейцам не мешало бы, многие дошли, что называется, до ручки. Бригаду следовало бы отвести во второй эшелон, но никто на это не рассчитывал, не было таких наивных.

Правее бригады рвался на Глубочку и Красную Горку вместе с дивизией Антюфеева 13-й кавалерийский корпус, стремившийся в скором времени захватить Любань – до ее пригородных улиц добирались уже разведгруппы. Фронт Второй Ударной армии расширялся, в прорыв втягивались все новые и новые соединения, и второму эшелону, снабжавшему их необходимым, было не до 59-й бригады, которая, несмотря на потери, все-таки продвигалась вперед. Самое большее, на что могла рассчитывать бригада, это на пополнение. И вскоре комиссар бригады Иосиф Харитонович Венец узнал от командира, что к ним следуют три маршевые роты лыжников-уральцев.

Полковник Глазунов был в бригаде человеком новым. Его назначили командиром вместо подполковника Черника, безудержной храбрости человека, но потерявшего управление боем под Спасской Полистью, где поначалу воевала бригада, за что и снят он был с должности.

...– Иван Федорович, – сказал Венец, – надо посмотреть на пополнение... Уральские лыжники, говорите?

– Они самые, комиссар, – отозвался комбриг. – Так передали из штаба армии. Должно быть, ловкие ребята. Вот бы с ними в обходный маневр против немца сыграть.

– А когда выступление, товарищ комбриг? Нам бы хоть чуточку времени дали на подготовку...

Венец никак не мог себе простить, что не поспорил тогда, под Спасской Полистью, со штабом армии по поводу сроков подготовки атаки на гитлеровский укрепрайон. Конечно, комиссар отдавал себе отчет, как мало он значил со своими соображениями. Известно ведь было в их кругах, что приказ о неуклонном, не прекращающемся ни на мгновение наступлении исходит чуть ли не от Верховного. Но было бы куда легче, если б он хотя бы попытался поговорить с членом Военного совета армии Михайловым. Правда, этот суровый и нелюдимый человек отнюдь не располагал к неофициальным разговорам по душам.

– Пополнение ждем к ночи, комиссар, – сказал Глазунов, – наступать же мы будем утром. Приказ я только что получил.

– Опять! – едва не вскричал в отчаянии Венец. – Черт знает, чем они думают. Нет, положительно в штабе армии сами не ведают, что творят. Ведь люди придут ночью в незнакомое место, а поутру идти в атаку!

– Давно воюешь, комиссар? – спросил Иван Федорович.

– Будто не знаете, – буркнул Венец. – С первого дня.

– Пора бы и привыкнуть, что пополнение у нас с колес бросают в бой. С колес-то ладно. А вот с пешего марша по бездорожью – это как? Ладно, хоть эти-то у нас лыжники. Только с ними, какими б лихими вояками ни были, на фланговый маневр не пойдешь, потому как условия наши, местность им еще не знакомы. Ладно, вот придут, тогда вместе на них и поглядим.

Несмотря на разницу в возрасте – комиссар Венец был совсем еще молодым человеком, – они по-доброму сошлись с Глазуновым. Полковник как-то сразу вызвал у него и других политотдельцев и штабистов искреннюю симпатию. Был Иван Федорович человеком спокойным и рассудительным, обладал командирским тактом, да и умения ориентироваться в быстро меняющейся обстановке боя ему не занимать. Комбриг прожил нелегкую жизнь, был едва ли не вдвое старше комиссара, а вот сошлись они сразу и душевно. На войне день такой дружбы года мирного приятельства стоит. А если командир с комиссаром в ладу и во взаимопонимании

врага воюют, значит, и урону врагу больше, и лишние сохраняются солдатские жизни. Это уж закон, проверенный кровью.

Сутки прошли, как бригада прекратила атаки и перегруппировала скудные силы, ждала обещанного усиления. Трясли собственные резервы, шерстили тылы, выбирая оттуда кого только можно было. И не переставали беспокоить немецкую оборону активными действиями поисковых разведгрупп, вели наблюдение за передним краем. И опять комбаты матерились: мало времени, отпущенного им на подготовку.

Уже стемнело, когда получили сообщение, что на бригадный обменный пункт прибыли три маршевые роты лыжников-уральцев. К встрече давно были готовы. И командование бригады, и ее штаб, и сотрудники политотдела собирались отправиться в роты: посмотреть людей, взводных и ротных командиров, разъяснить им и бойцам задачу, провести хотя бы короткие (сейчас не до разговоров) партийные и комсомольские собрания.

Пришло бригадное начальство на обменный пункт и обомлело. Вот так пополнение, вот так лыжники-уральцы! Ни лыж у них, ни оружия... Перли пехом от Малой Вишеры несколько суток, смертельно устали, порошу еще не нюхали. Венец собрал взводных, смотрел на них и едва не плакал – пацаны желторотые, такие же, как и красноармейцы. Правдой было только то, что формировались роты на Урале.

Плакать комиссару не положено ни от жалости, ни от злости, ни от обиды. Потому Венец и виду не подал, как разочарован таким «усилением». Стали вооружать новых бойцов по принципу: чем богаты, тем и рады, винтовки и патроны в бригаде были.

– Какой там обхват с флангов, товарищ комбриг! – говорил Иосиф Глазунову, когда остались вдвоем, чтоб предварительно обменяться мнениями. – На рассвете им в бой, этим лыжникам... Да они и стрелять как следует не умеют! А взводные командиры? Ни одного кадрового! Все после трехмесячных курсов, мальчишки. А утром идти в атаку!

– И пойдем, Иосиф, – вздохнул полковник, – сам знаешь ведь, пойдем. Никуда не денемся! И сволочей из обоих Еглино и разъезда выбьем. Нельзя нам их не выбить! А сделаем так. Сколотим из опытных ребят специальные роты, направим через лес – там, левее Большого Еглино, он довольно густ – в обход. На подготовку два часа! Пусть выходят пораньше. А «лыжников» используем перед фронтом обороны по линии двух деревень.

– Перебьют их немцы, – покачал головой Венец.

– Перебьют, – согласился Иван Федорович. – Это уж непременно. А иначе укрепленный район не взять. Пусть новички начнут, отвлекут внимание гансов, а наши обстрелянные парни ударят с тыла. Тогда посмотрим, кто кого. Главное – чтоб молодые шумели побольше... Ты уж по части этого обеспечи, Харитоныч.

И снова отправился комиссар в роты. Говорил со взводными, толковал с отделенными, внушал всем сразу и каждому бойцу: побольше шуму, ребята. Стреляйте и стреляйте! Видите врага или нет, возник он или отсидживается в траншее – стреляйте...

В одном из взводов Венец обратил внимание на рослого парня, тот понуро стоял в строю, отвернув лицо и будто не слушая комиссара.

– Ваша фамилия, товарищ красноармеец? – спросил комиссар.

Тот вздрогнул, вытянулся.

– Пивоваров Семен, товарищ комиссар! – ответил сиплым голосом.

– Простудили горло?

– Никак нет.

– Готовы идти в бой?

– Так точно!

– Стреляете хорошо?

– Не пробовал, товарищ комиссар. Только из мелкашки.

– Откуда родом?

– Из города Нижний Тагил.

– Дайте мне винтовку, лейтенант, – сказал Венец стоявшему рядом командиру взвода. О нем комиссар уже знал, что тот студент политехнического института, из Свердловска, а зовут его Вова Антокольский. На фронт пошел добровольцем, их курс пока забронирован, инженеры-металлурги они, будущие.

– Вот смотрите сюда, – сказал Венец, чувствуя, как стыдно ему сейчас перед ребятами, не за себя стыдно, он ведь не виноват, что их прислали сюда, неумелых, липовых солдат, а за кого ему стыдно – комиссар старался не уточнять. – Смотрите сюда, ребята. Вставили обойму, досылаете патрон, поворот – и патрон заперт в стволе. Теперь можно стрелять в фашиста. Только не забудьте снять винтовку с предохранителя. Вы, лейтенант, проверьте это перед самой атакой. И стреляйте, товарищи красноармейцы, побольше стреляйте!

Он знал, что говорит, молодой комиссар Венец. Знал, какими становятся новички в первой своей атаке.

И наступил девятый февральский день сорок второго года...

Маршевые роты новичков поднялись по команде и, нестройно крича, изломанными цепями двинулись через поля и огороды, занесенные снегом, к видневшимся в серой дымке избам сросшихся вместе деревень. Большое и Малое Еглино ошетинились огнем. Цепи залегли. И поднялись, и снова упали. Командиры рот отсылали связных к взводным, а те ползали среди лежащих красноармейцев, неумело ругали их щенячьим матом и чуть ли не плача уговаривали подняться в атаку. Увидел взводный Антокольский, как лежит, уткнувшись лицом в снег, Семен Пивоваров, подполз к нему, толкнул в плечо. Вздрыгнул уралец, поднял голову, повернулся к лейтенанту.

– Ты почему лежишь, Пивоваров? – закричал Антокольский. – Наступать ведь надо! Вставай... Вставай, кому говорят! Нехорошо так поступать, а еще комсомолец. Вперед, Пивоваров!

Антокольский и сам встал на колено, протянул вперед руку с пистолетом, чтобы вскочить на ноги, и тут крупнокалиберная разрывная пуля угодила ему в лоб. Взрывом лейтенанту снесло переднюю часть черепа, она упала рядом с лицом все еще лежавшего красноармейца, кусочки розовато-серого мозга ударили красноармейца по глазам. Пивоваров замычал, зажмурился. Откатился в сторону, не выпуская из рук винтовки, рывком поднялся и закричал бессмысленное «а-а-а». Правой рукой потрясал винтовкой, грозил ею немцам, а левой размазывал по лицу кроваво-серую кашу, что мгновение назад была мозгом взводного командира. Потом Пивоваров взял винтовку наперевес и бросился к таким далеким, исчезающим в серой дымке еглинским избам.

...Комиссар Венец находился в первом батальоне. Несмотря на протесты комбата, имевшего на этот счет особый приказ полковника Глазунова, Иосиф ушел в атаку в цепи стрелкового взвода, им командовал сержант Григорий Расев. Бойцы развернулись в цепи – их прикрыл огнем взвод лейтенанта Богородицкого – и короткими перебежками подобрались к восточному краю деревни Большое Еглино, не потеряв ни одного человека. Сержант Расев совершил немыслимый прыжок и бросил связку гранат во вражеский станковый пулемет. Пулемет замолчал. Бойцы схватились с гансами врукопашную, а за спинами их уже раздалось торжествующее «ура!». Это поднялся в атаку первый батальон...

Расчет полковника Глазунова полностью оправдался. Расправлявшиеся с новичками из уральских маршевых рот немцы не заметили, как в тыл им зашли ветераны. Они ошеломили гитлеровцев неожиданным ударом, и те поспешно отступили из Большого Еглино, бросив оружие, значительные запасы продуктов, что было весьма кстати для жившей на скудном пайке бригады, и штабной автобус, набитый документами и канцелярским имуществом.

А правее, у Малого Еглино, бой становился все ожесточеннее, немцы продолжали изо всех сил цепляться за деревню и железнодорожный разъезд. Они укрепились в подвалах домов, удерживали опорные позиции. Более того, гитлеровское командование вознамерилось вернуть Большое Еглино, применив танки. Со стороны разъезда показались три тяжелых танка, захваченных в 1940 году во Франции. Лобовая часть у них была экранирована дополнительной броней. А у бригады лишь «сорокапятки», их снаряды для такой машины что слону дробина. Но вырвался вперед орудийный расчет сержанта Жукова, начал дуэль с плененным когда-то и теперь верно служившим захватчиком французом.

– Прямой наводкой, ребята! – крикнул командир орудия, и артиллеристы выкатили «сорокапятку» руками на окраинную улицу деревни.

– Бронебойным!

Подносчик Вася Анохин подал длинный узкий снаряд, щелкнул замком, запирая его в стволе.

– Огонь!

Из танка их еще не видели. Машина, тяжело урча мотором и лязгая гусеницами, крутила башней, высматривая атакующих правее беззащитного, стоявшего на открытом месте расчета. Его едва прикрывал куцый броневой щит пушки, надежный разве что против винтовочных пуль и мелких осколков, так себе щиток, мертвому припарка.

Снаряд ткнулся в броню танка и с визгом ушел вверх. Рикошет, хотя и били бронебойным.

– Огонь! – заорал Жуков, и снова, как горох от стенки, отлетел снаряд.

Не брал он тяжелые танки...

– По гусеницам наводи! – крикнул сержанту Анохин.

– Навожу! – ответил Жуков и увидел, что танк повернул к ним башню и, не стреляя, рванулся на их позицию.

Бойцы еще могли отскочить от мчавшейся на них громадины в разные стороны, и тогда была бы небольшая возможность сохранить жизнь. Только не захотели Анохин и Жуков оставить пушку. Теперь Жуков метил в рвущиеся к ним траки, от них летел в стороны снег, траки быстро съедали последние метры, а он все наводил и наводил, кричал: «Огонь!», и маленькая «сорокапятка» злобно лаяла на стальную махину, гордая в решимости умереть, но не отступить.

Не отступили... Когда оставалось немного, Бруно Мильгауз напрягся в сиденье, чтоб легче принять на себя удар. Он слился с машиной, летящие по каткам траки стали его конечностями, руки удлинились, продолжились через рычаги во фрикционы, бешено работающий мотор заменил Бруно его сердце. Он кричал бессмысленное, но кричал молча, приученный разговаривать в танке только о том, что относится к боевой обстановке, ведь любое произнесенное слово слышал весь экипаж. Бруно любил давить живое мощью и многотонным весом своего тела-танка. Он испытывал нечеловеческое наслаждение, подлинная страсть охватывала все его существо, и Бруно давил убегающих в поле красноармейцев летом сорок первого года, расплющивал беженцев с их жалкими тележками для скарба, давил раненых, лежащих на топчанах под тентом палаток окруженного медсанбата, утюжил русские окопы, раздавливал грузовики с пехотой и штабные «эмки». Но больше всего Бруно любил кромсать вот такие безобидные для его тяжелого танка пушчонки...

Последний снаряд наверняка разбил бы трак у танка. Только времени Жукову уже не хватило. Танк навалился всей многотонной массой, правая его гусеница ударила пушку по левому колесу. Ствол «сорокапятки» задрался кверху, казалось, он потянулся, чтобы схватить за орудийное жало врага и попытаться его вырвать... Но ствол у нее был коротким и задирался все выше. И когда смотрел уже в серое равнодушное небо, грянул бесполезный теперь выстрел.

А танк-«француз» опрокидывал пушку на головы ее хозяев. Они припали к орудию, будто ища у него спасения. Жуков спрятал голову за щиток, словно щиток мог спасти его, впрочем, сержант не думал об этом, он прикрылся скорее по привычке, так его всегда учили. Подносчик Анохин потянулся за новым снарядом, но глянул, как далеко стоит ящик, и остался на месте. А заряжающий Юсов, не получив в руки снаряда, увидел, как стал приподниматься открытый казенник, упал, стараясь обнять его.

Бруно Мильгауз опрокинул пушку. Она упала, накрыв артиллеристов, и Бруно смял все, что было перед ним, потом взгромоздился на исковерканные останки, мстительно крутанулся и раз, и другой, поурчал от сладострастия, ухнул, довольный победой, и помчался по улице, высматривая новую добычу.

Пытался остановить другой танк расчет сержанта Маметьева. Он тоже бил по тракам и тоже не успел. И тогда гроыхающий, извергающий пламя и чад танк затоптал и сержанта Маметьева, и наводчика Антонова, и Губаревича – подносчика снарядов.

И Жуков, и Маметьев не отступили... Много было таких, не отступавших! И лязгающий убийца не избежал возмездия. Пока он расправлялся с расчетом Маметьева, командир батареи лейтенант Феофанов выцелил его сзади. Выстрел – и гусеница распласталась. Второй – попадание в моторную группу. И разорвалось железное сердце железного зверя.

...Глазунов и Венец обходили утром бывшее поле сражения. Было уже 10 февраля 1942 года. Они выбили немцев из обеих деревень и железнодорожного разъезда, потеснили противника дальше, в сторону Каменки, подбираясь к рокадной однокорейке. И вот комбриг и комиссар пришли туда, где начали атаку уральские ребята. Раненых давно подобрали, убитые ждали похоронной команды, теперь им было не к спеху. Глазунов и Венец обошли труп взводного Антокольского, постояли над ним молча с минуту, закурили, пошли дальше. Ближе к деревне убитых было больше.

– Я помню этого парня, – сказал Иосиф Венец, глядя на распластавшего в стороны руки, лежащего лицом вверх красноармейца. – Говорил с ним перед боем, как заряжать винтовку показывал. Семеном его звали, из Нижнего Тагила.

Комбриг нагнулся и попытался высвободить винтовку из сжатых пальцев Семена. Но тот оружия не выпускал.

– Гляди-ка, – сказал Глазунов, – и после смерти воином остался. Помоги, комиссар. Винтовка его пригодится другому.

Вдвоем они освободили тагильчанина Семена от оружия, и стал он теперь обыкновенным человеком. Обыкновенным мертвым человеком.

Венец прошел дальше. Его остановил возглас комбрига:

– Ты видишь, комиссар? Смотри сюда! Ведь он винтовку с предохранителя так и не снял...

– В горячке, – не поворачиваясь, сказал Венец. – С молодыми бывает. На этом поле здесь он такой не один.

– Погиб в бою, а по врагу не выстрелил ни разу, – проговорил комбриг, догоняя комиссара. – Какой ценой измерить его смерть?!

39

Всем давно хотелось отварной картошки.

Порой диву даешься, когда видишь необычную нежность, с какой истинно русский относится к бесхитроственному блюду – картошке в мундире. Какая уж тут хитрость! Отмыл клубни, залил водой и ставь на огонь. А закипит вода – посоли круто. Ну, это на чей вкус. Иные варят в несоленой, а потом щедро макают освобожденную от кожуры, исходящую паром картофелину

в крупную соль, она так приятно поскрипывает на зубах... Эх, картошка! До чего же полезный и вкусный продукт, особенно в те времена, когда выпадают народу голодные испытания!

Никто не воспел картошку в торжественных одах, но, если бы принято было водружать растениям памятники, на Руси поставили б картошке настоящий мемориал. А ведь были времена – никак не хотели ее принять. Бунтовали жестоко, дрались с екатерининскими солдатами, отвергали «ведьмины яблоки», и снова (привычное дело!) лилась русская кровь. Теперь и не верится даже. Немыслим русский стол без жаренной на подсолнечном масле с луком, испеченной в жаркой золе костра, отварной с селедочкой, намятой со шкварками...

А им хотелось попросту – «в мундире». У помкомвзвода день рождения случился. На войне обычно про эти дни не вспоминают, только раз на раз не приходится, тут вот и вспомнил сержант Меледин, что стукнуло ему аж целых двадцать два.

Степан Чекин в роте этой был новичком. Он досрочно отпросился из медсанбата. Комбат Ососков отпустил его без особых возражений, и Чекин хотел вернуться в свою дивизию, но дивизия сменила позиции, знать о ней могли лишь в армейском штабе, куда сержантов и на порог не пускают.

На прежнем месте он воевал недолго, ни к кому не успел привязаться быстротечно и кровно, как привязываются на переднем крае, и корешков у Степана там не было. Вот и остался в Сорок шестой. Так и попал на скромное торжество сержанта Меледина.

– Котелок бы картошки слопал, – мечтательно сказал именинник, – да ежели с огурцом еще...

– Селедки можно, – отозвался старшина, – имеется в заначке.

– У тебя чего в той заначке только нет, – заметил сержант из третьего взвода Ермолай Трутнев, долговязый и сумрачный сибиряк.

– Картошечки... – простонал Денис Меледин. – Чую дух от нее.

– Может, тебе и бабу к ночи? – спросил старшина Гурьев. – Конечно, бабу я произвести не в состоянии, а вот картошку...

– Добудешь? Трофейный «парабеллум» подарю...

– На кой хрен он мне сдался, я «наганом» обойдусь, – сказал Гурьев, звали его Виктором, и был он один, пожалуй, кадровый сверхсрочник в батальоне. – А с этим закусем, по которому ты млеешь, дело не простое. За ним идти опасно.

– Куда? – вскинулся Меледин.

– Сиди, сержант, – остановил его Гурьев, – не выпрыгивай. Твое дело сторона. У тебя, брат, праздник.

– Слышал я про тот сарай, – сказал Ермолай Трутнев. – Херня все это на постном масле, байки.

– А я в третьей роте давеча жареной отведал, – возразил Гурьев. – Картошка из того погреба была. Понял? Смелые там ребята, в третьей. Каждую ночь ходят.

– Доходятся, – буркнул Трутнев. – Давайте жребий бросим.

– Не надо жребия, – сказал вдруг молчавший до тех пор Степан. – Чего там... Я пойду.

...Эти двое не боялись друг друга. Страх всколыхнулся было на донышке сознания и угас. Не потому, что его задавили усилием воли. Необычность обстановки, а главное – вовсе не военный характер затеянного ими не дали страху разрастись и превратиться в ожесточение, ярость, желание уничтожить другого. Может быть, эти чувства порождаются не страхом, только он содержится в первоначале побуждения, заставляющего поднять меч. Страх, опасение за свою жизнь, стремление сохранить ее – естественное состояние живого, почуявшего опасность, инстинктивное состояние. И когда страх не развился, возникла пустота, и в незаполненное место пришло любопытство.

...Степан Чекин, руководствуясь напутствием старшины Гурьева, как пробраться в погреб с картошкой, забрался в него первым. Он захлопнул за собой двойной, обитый старым одеялом люк, спустился по приступке и оказался на куче картошки, неведомо как сохранившейся в разоренных голодом краях.

Погреб был просторным. Чекину показалось, что под люком картошка подмерзла, на ощупь была твердой и холодной, и тогда он сместился в угол; угол был пустым, видно, картошку ссыпали сверху и не успели распределить по закромам.

Тьма в погребе была кромешной. В углу картошка, представилось Степану, была не такой холодной. Он стянул с плеча вещевой мешок и стал бросать клубни, ощупывая каждый: ненароком не закинуть бы гнилой. Вещевой мешок грузнел и обретал добрую форму. Чекин прикидывал рукой, далеко ли до края, чтоб завязать хватило; еще немного – и будет довольно...

Степан, опытный вояка, понимал: его ночной поход на ничейную землю станет известен в роте и лихость эту оценят красноармейцы. Правда, если узнает начальство, то может и врезать за ухарство, но Степан знал, что официально никто командиру роты не сообщит, а слухи, они и есть слухи. И потом, ему самому страсть как захотелось картошки в мундире. Да еще если под обещанную старшиной селедочку...

Он набрасывал в мешок последние клубни, когда открылся вдруг люк. Тот, кто открыл его, помедлил, а Степан замер в углу, затаился. Миновали секунды... Пришелец наверху включил фонарь. Луч света упал в погреб, поерзал-поерзал по картошке и погас. Человек стал спускаться, он мурлыкал песенку, тихо мурлыкал, одну мелодию и различил Степан. Но сразу понял – чужой.

Вилли Земпер, это был он, снова зажигать фонарь не стал. Ему и в голову не приходило, что в погребе может находиться кто-нибудь еще. Он был прекрасной мишенью, когда спускался. И если его не убили, то просто потому, что это некому сделать. А Чекин Степан и сам не мог объяснить, почему сразу не ухайдакал немца. За пазухой у него был «наган». Ахни разочек – и нету пришельца. Видимо, время еще для того не пришло. Не так скрестились военные пути-дороги этих людей. Да и не сразу понял Чекин, кто спускается в погреб. Мало ли кто какие песни мурлычет... А когда Вилли Земпер засветил зажигалкой парафиновую плошку и поставил ее на ступеньку, чтобы освещала ему поле действия и руки чтоб оставались свободными, тогда стрелять было поздно: возникло любопытство.

Впервые Чекин видел врага так близко. Конечно, в атаке он уже не раз лицом к лицу сходился, но в атаке перед тобой не человек, а воплощенное в его обличье зло. А вот так... Тихо, мирно горит плошка, ганс мурлычет себе спокойно, снимает с плеча пустой ранец из рыжей телячьей кожи, отстегивает крышку и, став на колени, деловито, по-хозяйски, с крестьянским пониманием начинает ощупывать клубни.

Земпер решил: эта картошка под люком подмерзла. Он потискал-потискал один клубень, поднес к лицу, понюхал и отшвырнул в сторону. Обвел глазами погреб, едва освещенный плошкой, и встретился взглядом с Чекиным. Он тоже никогда не видел так близко русского. Убивал он их всегда с расстояния, даже лиц их, встречающих смерть от его руки, никогда не видел. После его снайперского выстрела кувыркнулся в снег – вот и продолжил боевой счет баварский крестьянин.

Теперь же они глядели друг на друга и не знали, что им делать. Каждый пришел в погреб с мирной целью, кровавые заботы войны оставив там, наверху, и на какое-то мгновение солдаты двух враждебных армий растерялись...

Когда Чекин был на Невской Дубровке, зимой установились с немцами особые отношения по части питьевой воды. Она была в Неве, а Нева находилась под обоюдным обстрелом. Но когда собирались за водой, на той или другой стороне начинали брэнчать ведрами, бить металлическим в донья. Оповестит таким образом немцев красноармеец и спокойно идет к проруби за водой. С той стороны не стреляют. Приспичит тем неврской водицы попробовать

– они бренчат. Тогда наши дают им напиться... Однажды прибыл товарищ из штаба и увидел: гансы собрались на водопой, дав перед этим сигнал. Удивился гость, схватил винтовку, прицелился и выстрелил уж было по немцу с ведрами, да случившийся рядом сержант ударил по стволу. Пуля ушла в небо, а разъярившийся штабист вторым выстрелом прикончил самого сержанта.

Скандала особого не произошло, дело замяли, но всякое бренчанье прекратили. За водой на невиский лед ползали теперь ночью...

Вилли Земпер виновато улыбнулся. У него вдруг возникло странное чувство, которого не испытывал ни в Голландии, ни в Польше, ни тем более в России. Баварцу почудилось, что застали его в погребѣ у соседа, веселого и разбитного Уго Лойке. Вилли даже чуть было не рассмеялся, до того вздорным и нелепым показалось ему это ощущение, но как будешь смеяться, если этот иван таращит на тебя глаза.

Обстановка была и смешной, и нелепой, но враждебностью в густом и тяжелом воздухе погребѣ не пахло. Может быть, случись так, что встретились они у вѣщмешка с картошкой или телячьего ранца, который мог стать собственностью лишь одного из них, тогда возникла бы необходимость борьбы за обладание. Но картошки было вдоволь, она заполняла вместительный погреб, и нет нужды вступать в спор из-за нее.

Первой мыслью, которая пришла к Земперу, было намерение уйти несолоно хлебавши. Если, конечно, иван позволит ему сделать это. «Ein Mann – kein Mann» (один в поле не воин), – подумал Вилли, – надо уносить ноги подбру-поздорову». У него был с собой пистолет, но сейчас он даже не вспомнил о нем. Зато вспомнил шуточки Руди Пикерта о медвежьей болезни и разозлился, представив, как будут хохотать товарищи, когда он придет с пустым ранцем. Они попросту не поверят тому, что Земпер побывал в погребѣ.

Тогда Вилли взял в руки картофелину, показал Степану и сделал движение, будто кладет ее в ранец. Чекин пристально смотрел на немца. Тот повторил движение и вопросительно глянул на него.

«Черт возьми, – мысленно воскликнул Степан, – да ведь он просит у меня разрешения! Хрен с тобой, немецкая говядина, набирай ранец...»

Чекин кивнул: давай, мол, пользуйся, а что еще оставалось, и Земпер, покивав благодарственно в ответ, принялся накладывать картошку в ранец, не забывая ощупывать каждую и даже подносить ее к свету. Передвинуться в место получше солдат не решился. Наверно, попалось ему и достаточно мерзлой, и Вилли понимал это. Только сказано ведь: кто вовремя не приходит, получает то, что остается.

Пока Вилли Земпер набирал картошку в ранец, Степан Чекин лихорадочно соображал, что ему делать дальше, прикидывал, как лучше им разминуться. Поначалу хотел загнать Вилли в угол с наполненным ранцем, чтоб выбраться из погребѣ первым, ведь Земпер загораживал люк, он устроился прямо под ним. Но эту идею Степан отверг. Ему не хотелось поворачиваться к гансу спиной, вылезать из погребѣ первым.

– Уходи, – сказал он немцу, когда тот застегнул наполненный ранец.

Вилли вопросительно взглянул на Чекина – не будешь стрелять? – и сержант отрицательно покачал головой. Земпер поверил ивану. Он просунул левую руку в лямку ранца, а правой снял со ступеньки парафиновую плoшку, она мешала ему подниматься, и осторожно приладил ее среди клубней, хотя первой его мыслью было резко отбросить мерцающий огонек в угол подвала и стремглав броситься к спасительному люку. Но Вилли пересилил себя. Он оставлял огонь русскому и открывал ему беззащитную спину.

Вилли, покинув погреб, оставил люк открытым. И только теперь Степан понял, что оказался в дурацком положении. А что, если мордатый ганс караулит его наверху? С другой стороны, пойди Чекин первым, что помешало бы тому выстрелить в поднимавшегося по ступенькам Степана?..

Сержант завязал мешок, приладил его за плечами, достал «наган», крутанул барабан, взвел курок. Со взведенным курком на долю секунды выстрелишь быстрее.

Горела плошка. К шибавшему в нос картофельному духу примешивался запах сгоревшего парафина. Чекин взял плошку в руки. Парафин расплавился, фитилек плавал в лужице, и Степан пожалел, что не сумеет унести плошку с собой, сгодились бы в хозяйстве.

Он поднял на плечо вещмешок, задул огонь, надвинулась темень, потом опустил плошку, горячий парафин пролился и несильно обжег ему пальцы.

Лесенку Степан преодолел рывком, держа револьвер наготове. Выметнувшись из люка, сразу упал на земляной пол сарая, прислушался. Никто не стрелял, никто не кричал ему «Руки вверх!».

Чекин захлопнул люк, чтоб не перемерзла в погребе картошка, и выбрался из-под упавшей кровли сгоревшего сарая.

В чистом поле он перевел дух и осмотрелся. Ветер усилился. По ничейной земле суетилась поземка. Начиналась метель.

40

Тамара Бренькова готовилась умереть. Она знала, что с такой раной не выживают. Мало того, Тамара всем существом чувствовала приближение смерти. Погибель ее обернулась бомбовым осколком с иззубренными краями. Он рассек молодое, сильное тело не успевшей ни разу родить женщины, и только о том жалела сейчас Тамара, что не оставит после себя никакого следа на земле. Когда, после налета немцев, похоронили врача Свиридова, Тамару будто подменили. Она осунулась, замкнулась, все валилось у нее из рук. Комбат Ососков как-то сгоряча наорал на сестру, потом пригляделся внимательно и махнул рукой: «Не жилец на белом свете, смерти девка ищет...»

Принято считать на войне, что, ежели кто умереть собрался, жизнь кому стала в тягость, того косая быстренько приберет к рукам. Правда, не всегда получается так. Бывает, лезет мужик в пекло, вызывает огонь на себя, чуть ли не грудью пули ловит, а те его минуют и минуют... Но чаще все же происходит по первому правилу.

Подловились Тамара на одной-единственной бомбе, ее сбросил к ним «Юнкерс», прилепивший бомбить соседнюю батарею. По чьему-то недосмотру артиллеристы оказались неподалеку от медсанбата, в семи километрах от переднего края. Ососков ходил к пушкарям выяснять отношения, ругался, но те и бровью не повели. Вскоре ударили с новых позиций по немцам, их быстренько засекла воздушная разведка и вызвала «Юнкерсы». Один из них и принес погибель медсестре Бреньковой.

Тамара лежала в отдельной палатке, где помещалась аптека. Марьяне разрешили отлучиться от раненых, ее подменила новенькая медсестра.

– Небо, – сказала Тамара, – хочу видеть небо... Вынеси меня, Марьяна, на волю.

Вдвоем с начальником аптеки они взялись за носилки, на которых лежала Тамара, вынесли наружу.

– Хорошо, – проговорила Тамара, и голос ее прервался. Она полежала молча и снова зашептала. Глаза ее были закрыты.

– О чем ты, Томочка, милая? – спросила Марьяна.

– На белом коне, – услышала она, – маршал на белом коне... И музыка, Марьяна, играет... А у меня платье красивое...

«Бредит, – подумала Марьяна, – бредит бедняжка!» Тамара открыла вдруг глаза, они были осмысленными и смотрели на Марьяну с легкой укоризной.

Странное дело, сама Марьяна пребывала сейчас в заторможенном состоянии. Ей бы разрыдаться, заголосить, выплеснуть скорбь наружу, но слишком много вокруг было горя и стра-

даний. И Марьяна загоняла вовнутрь рвущийся наружу крик, который мог бы облегчить ее страдавшую и не пожелавшую окаменеть душу.

– Маршал, – донесся до Марьяны шепот умирающей, – маршал приехал... на белом коне.

До слуха Марьяны донесся непривычный шум двигателя, она подняла голову и увидела: меж сосен остановился на дороге бронетранспортер, за ним грузовик с бойцами в кузове. Бойцы прыгнули и растянулись цепью вокруг бронированной машины, оттуда вышли командиры, к ним уже бежал, спотыкаясь, комбат Ососков. Добежав до группы, Ососков принялся было докладывать, но один из прибывших махнул, все повернулись и пошли в сторону. И вдруг командир, невысокого роста, в темной бекеше с коричневым воротником и такого же каракуля невысокой папахе, глянул в Марьянину сторону, и та узнала в нем Ворошилова.

– Тамара, Тамара, – горячо зашептала она, склонясь к уху подруги, – погоди немножко! Не умирай, милая... К нам Ворошилов приехал! Понимаешь? Климент Ефремович сам!

Тамара закрыла глаза, вздрогнула вдруг, вытянулась, лицо затвердело, улыбка попыталась исчезнуть, но тень ее сохранилась.

41

В эту февральскую ночь 1942 года Сталину не спалось. Он вообще плохо спал по ночам, потому и сместил собственный отдых на утренние часы. Впрочем, и сейчас было раннее утро. Но в это время Сталин обычно уже спал, и вся страна, вернее сказать, руководящая ее часть позволяла и себе прикорнуть в специально оборудованных комнатах.

Справедливости ради надо сказать, что эта традиция – смещать дневное время на ночь – возникла еще до того, как Сталин превратился в существо высшего порядка. Не спали по ночам в первые дни Октябрьского переворота, недели и месяцы становления советской власти, в тревожном ожидании Брестского мира, в архитрудную эпоху военного коммунизма. Позднее, когда Ленин приступил к созданию хозяйственных основ государства, Председатель Совнаркома неоднократно возвращался к проблеме нормального ритма деятельности партийного и советского аппарата. Но выкорчевать до конца привычки военного коммунизма, а иных у взявших власть партийцев, увы, не было, Ленину не удалось.

С его смертью исчезло последнее препятствие для группы лиц, которым импонировал командный, волевой, армейский стиль руководства партией, экономикой, государством, народом. Поэтому сплотились они вокруг генерального секретаря, который во всеуслышание объявил себя защитником ленинских идей.

...Сегодня Сталин долго не спал. Он лежал, вытянувшись, на узкой железной кровати, прикрытый серым солдатским одеялом, лежал на спине, опустив на глаза набрякшие за беспокойный день веки, и тщетно пытался уснуть.

Сталин не признавал снотворных и никогда не пользовался этими средствами. Не верил он в силу подобных лекарств. А тех, кто не умел взять и просто уснуть, вызвав сон обычным усилием воли, считал людьми безнравственными, развращенными, такими, у кого нечистая совесть.

Сейчас вождь повернулся лицом к стене и попытался в веренице непрестанно сменяющихся событий последних дней найти нечто, что могло так чрезмерно возбудить его сознание. Вспомнил письмо, отправленное недавно президенту Рузвельту. В нем Сталин благодарил за предложенный Соединенными Штатами Америки второй миллиард долларов военной помощи по ленд-лизу. Этот миллиард был как нельзя кстати, но Сталин принял его со строгим достоинством и, сдержанно поблагодарив Рузвельта, не преминул заметить, что пока организация доставки грузов из Америки в Советский Союз оставляет желать лучшего.

Нет, это событие надо отнести к разряду положительных, оно вовсе не могло вызвать у него бессонницу. События на фронте? Особых причин для беспокойства как будто нет и там.

Правда, Сталин, пока еще смутно, начинал понимать, что зимнее наступление Красной Армии против группы армий «Центр» начинает пробуксовывать и затухать. Теперь он возлагал большие надежды на будущий удар, который нанесет Тимошенко в направлении Харькова, северо-западнее Изюма, и на Крымскую операцию. Этими двумя ударами он подрежет Гитлеру хвост и вернет Донбасс. Еще немного – и Красная Армия перехватит стратегическую инициативу.

Вождь вздохнул, повернулся на спину и открыл глаза. Понимал: уж если начал разбирать в уме положение на фронте, уснуть не удастся.

Он полежал несколько минут, бездумно глядя в темноту, потом решительно поднялся и сел на койке, свесив ноги, обутые в шерстяные носки: в последнее время у него стали зябнуть ноги.

С легким усилием нагнулся и поднял за голенище разношенный сапог из мягкого хрома. Некоторое время он медлил и едва не решил было снова улечься, но теперь спать и вовсе расхотелось. Сталин обулся, легонько притопнул, чтобы сапоги сразу осели, ладно прились по ноге, и принялся, неслышно ступая, подниматься по лестнице, которой пользовался только он один, направляясь на второй этаж, где располагался служебный кабинет.

Здесь Сталин не задержался, прошел в библиотеку, она помещалась рядом. Среди шкафов, заставленных книгами и закрытых стеклянными дверцами, Сталин остановился и наморщил лоб, будто пытаясь вспомнить, что привело его сюда. Потом решительно подошел к одному из шкафов, где находились немецкие издания, открыл дверцу и снял с полки «Майн кампф», сочинение Адольфа Гитлера. Издание было роскошным, с золотым обрезом: Нюрнберг, 1937 год... Сталин подержал-подержал в руке книгу, презрительно фыркнул и отправил на место, достав стоявшую рядом невзрачную книжицу в черном коленкоровом переплете. Это был русский перевод «Моей борьбы», выполненный для служебного пользования.

Сталин раскрыл книгу наугад, и в глаза ему бросилась отмеченная вертикальной чертой фраза: «Молодой человек должен научиться молчать и, если нужно, молча терпеть несправедливость. Если бы немецкому юношеству в народных школах меньше вдавливали знаний и внушали большее самообладание, то это было бы щедро вознаграждено в годы 1915–1918».

«Теперь у его солдат самообладания даже излишек, – подумал, усмехнувшись, Сталин, – только основываться это чувство должно на осознании справедливости того дела, за которое ты воюешь... Нет, он уже проиграл войну, как проиграл ее Наполеон, как будто бы победив русское войско в Бородинском сражении и вступив в Москву. Нынешняя война – схватка идеологий. У него плохие специалисты по России. У колосса вовсе не глиняные ноги...»

Сейчас вождь не признался бы даже самому себе, что в свое время недооценил опасность фашизма, пришедшего к власти в Италии уже в 1922 году. Более того, Сталин находил нечто рациональное в дружбе с Муссолини, о чем прямо и недвусмысленно сказал 17 июня 1924 года в докладе «Об итогах XIII съезда РКП(б)» на курсах секретарей укомов при Центральном Комитете.

И уж вовсе трагедией для всего международного рабочего движения явилось стойкое убеждение Сталина относительно социал-демократических партий. Вождь заносил их одним чохом в лагерь врагов социализма и считал куда более злейшими противниками, нежели постепенно набравших силу нацистов.

В силу того что коммунистические партии входили в Коминтерн, раскольнические идеи Сталина, ведущие к ослаблению общего народного фронта, обостряли противоречия внутри рабочего класса Западной Европы, многие лучшие представители которого традиционно входили в социал-демократические партии. Особенно ярко проявилось это в Германии. Пока немецкие социал-демократы выясняли партийные отношения с такими же пролетариями, но входившими в партию коммунистов, а порой и открыто враждовали друг с другом, Гитлер и его партия вербовали сторонников из беспартийной, колеблющейся массы трудящихся, не сумевших вырваться из мелкобуржуазной стихии. Так непримиримое отношение коммунистов

к социал-демократам, подогреваемое ошибочными взглядами Сталина, разбило реальные силы, которые могли дать отпор фашизму, раскололо народный фронт и позволило Гитлеру прийти к власти.

Беда Сталина была и в том, что вождь остро ощущал собственную неполноценность от невысокой образованности, иногда доходившей до явного невежества. Это не так страшно, когда подобная личность находится в социальном кругу равных по статусу людей. Но когда недоучка становится вождем и его слову внимают миллионы, как устоять и не уверовать, будто ты и в самом деле мудрейший из мудрых!

Трудно сейчас сказать, изучалась ли на Политбюро анкетная биография Сталина, когда в 1922 году решался вопрос о его выдвижении на пост Генерального секретаря ЦК РКП(б). Следует подчеркнуть, что эта должность в те времена рассматривалась скорее как техническая. Необходим был человек, который наладил бы оперативную деятельность Центрального Комитета, роль которого в эпоху новой экономической политики существенно преобразилась. Во всяком случае, никого тогда не остановило то существенное обстоятельство, что основные зачатки знаний Сталин получил в духовной семинарии, готовя себя к религиозной карьере.

Это весьма роковое обстоятельство, которое многое объясняет в том Сталине, каким узнала его последующая история.

Религиозная система воспитания основана не на знании, не на поисках противоречий, в столкновении которых рождаются истины, а на слепой вере. «Верю, следовательно, существую» – так, исказив картезианский принцип, определили бы мы принцип религиозной методологии. И в нем был весь Сталин. Отсюда его фанатизм, отсюда бесчеловечная нетерпимость, жесткий догматизм, патологическая склонность к глобальной иерархии, повсеместное насаждение в практику византийских методов, упование на командно-бюрократический стиль руководства и неуклонное приобщение народа к догмату непогрешимости Бога – Вождя.

Как знать, обладай Сталин культурой светской, глубокими и систематическими знаниями, гибким и аналитическим умом, не скованным в ранней юности религиозными догмами, может быть, ему показались бы смешными миллионные тиражи его портретов и бюстов, распространяемых в стране, фанатичное поклонение толпы вызывало бы искреннее раздражение, а мысли о зловещей тюрьме народов, в которую вождь превратил великое государство, вызвали бы в душе его неподдельный ужас и смятение.

Но никому из членов Политбюро тогда, в 1922-м, не пришло в голову вспомнить, где и чему учился в юности Сталин. Иначе не произошли бы события, которые дорого обошлись российским народам и всему миру.

...Сталин листал «Мою борьбу» и наткнулся на отмеченную его рукой фразу. «Народное государство, – утверждал Гитлер, – видит идеал человека в непреодолимом воплощении мужской силы и в бабах, вновь производящих на свет мужчин».

«Пошляк, – раздраженно подумал Сталин и захлопнул книгу. – Жалкий и примитивный пошляк... И такой человек стоит во главе государства!»

Раз и навсегда определив для себя отношение к Гитлеру, которое сложилось еще в двадцатые годы, когда он впервые узнал о нацистском движении в Германии, Сталин не изменил его до сих пор, хотя этот человек, достойная натура для карикатуристов, отнял у него добрую половину России и еще недавно стоял у ворот Москвы.

Еще один парадокс личности Сталина, а этих парадоксов было хоть отбавляй, заключался в том, что вождь в глубине души завидовал фюреру германского народа. Он высоко ценил его деятельность внутри страны, которая позволила за три-четыре года поставить униженное Версальским договором немецкое государство под ружье. Гитлер сумел сделать то, что до сих пор не удавалось сделать ему, Сталину, – объединить собственную страну вокруг великой триады: один вождь – один народ – одно государство.

Гитлер ухитрился малой кровью отделаться от соперника Рема в 1934 году, а ему, Сталину, неделями пришлось высидывать на судебных процессах, скрываясь от их участников за специальными ширмами. Генеральный штаб Германии с первых дней прихода фюрера к власти верой и правдой стал служить Гитлеру, а ему, Сталину, пришлось устроить чистку в армии, убрать из нее всех, в ком не был уверен. Очень скоро с Гитлером стали считаться правители Франции и Англии, а он, Сталин, до сих пор не уверен в лояльности акул капитализма, борьбе с которыми посвятил всю свою жизнь.

Словом, этому выскочке слишком легко все удавалось. Значит, в нем было нечто такое, чего Сталин не мог понять. С одной стороны, неразгаданная причина успехов Гитлера вызывала неосознанное к нему уважение. А с другой – усиливало неприязнь к вождю германского народа, которую он маскировал презрением, ибо это чувство заглушало комплекс неполноценности, с особой силой вспыхнувший в роковое воскресное утро начала войны.

Сталин вернул русский перевод «грязной стряпни пошлого маньяка» на место и решительно вернулся из библиотеки в кабинет. Сел за стол, нашарил в кармане небольшой ключ на кожаном шнурке и открыл им левый ящик письменного стола. Там лежала толстая тетрадь в кожаном коричневом переплете.

Никто не знал, что Сталин вел дневник, не вязалось подобное занятие с обликом и характером этого человека. Конечно, дневник был под стать его хозяину. Никаких эмоциональных записей, никаких сомнений, фраз с вопросительными или неопределенными интонациями. Сухой перечень событий, упоминания о значительных встречах, своеобразный временной реестр деятельности.

Сталин листал тетрадь, воскрешая в памяти былое, развертывая ретроспективу прошлого, изменить которое даже он, всемогущий, был не в состоянии. Сейчас он бессознательно искал причину сегодняшней внутренней неустроенности и понял, откуда она пришла, когда увидел запись беседы с начальником Генерального штаба генералом Жуковым.

Это случилось год тому назад.

...Никому не дано изменить прошлое, а вот на будущие события человеку оставлена возможность воздействовать. Весь секрет в том, с какой степенью точности сумеет человек смоделировать варианты будущего и выбрать из них именно тот, что в совокупности с действующими факторами даст необходимый результат. Умение предвидеть вовсе не несет в себе ничего таинственного и сверхъестественного, оно предполагает умение верно оценивать имеющиеся факты и те, на возникновение которых можно рассчитывать, учитывать законы сцепления и взаимного уничтожения чужих интересов, точно разлагать события на составные и вновь собирать разрозненные детали свершившегося воедино. И тот, кто овладел этим инструментом и тонко применяет его в практической деятельности, никогда не раскрывает зачарованной публике секретов успехов. Простые смертные видят конечный результат и отчаянно рукоплещут политическому гению, поставившему мат противнику.

Ошибки людей, обязанных предвидеть, дорого обходятся человечеству. В наши намерения не входит анализ причин, вызвавших Вторую мировую войну, безусловно, ее возникновение определено глубокими экономическими и политическими причинами. И тем не менее вовсе не трудно составить список из десятка – всего десятка! – имен, обладатели которых совершили в канун войны непростительные ошибки. Поступи они иначе – события бы развивались в ином направлении, Мировая война могла бы не разразиться. Хотя, разумеется, и эта трагическая десятка – порождение экономических факторов, причудливый конгломерат прямых связей. Знание законов диалектики помогает понять мир, но этого знания порою недостаточно, чтобы предостеречь человечество от роковых последствий.

Открытых агрессоров казнили в Нюрнберге. Они заслужили петлю, и в этом ни у кого нет сомнений. Но как нам судить тех, кто так или иначе не сумел увидеть возможного резуль-

тата собственных неправильных действий и тем самым создал предпосылки для трагического развития событий?..

...Сталин заскрипел в ярости зубами, он был наедине с собой, мог позволить себе это. Он едва не бесновался, вспоминая, чем занимался Генштаб в последние недели предвоенного времени.

Германия заканчивала формирование ударных кулаков на западной границе, а в Тбилиси в конце мая и начале июня сорок первого проводились учения Закавказского военного округа. Затем генштабисты перебрались морем в Красноводск и приступили к командно-штабным учениям в Среднеазиатском округе. И только за сутки до войны бригада Генштаба вернулась поездом в Москву.

Конечно, все это не было ошибкой в чистом виде. После заключения с Германией Пакта о ненападении 23 августа 1939 года, а затем Договора о границах и дружбе 28 сентября 1939 года, и особенно после встречи Молотова с Гитлером в ноябре сорокового года, оценка международной военно-стратегической обстановки вытекала из сталинского утверждения: возможной в исторической перспективе войне Германии с СССР будет предшествовать удар Гитлера по Англии. И в этом случае интерес Генерального штаба к Южному театру военных действий, где находились английские колонии, был отнюдь не случаен. Но Гитлер сделал собственный ход конем, лишив Сталина ферзевых преимуществ.

Таково было недавнее прошлое, и даже Сталин не мог его изменить. Он понимал, что дьявольская игра, которую затеял Гитлер, обернется против него самого, убежденности Сталина тут было не занимать. Но ему приходилось признавать: Гитлер выиграл пару-тройку первых ходов. Это постоянно мучило его и роковым образом заставляло торопиться, чтобы поскорее взять верх, путало тщательно разработанные Генеральным штабом планы.

После успешного контрнаступления под Москвой Борис Михайлович Шапошников предложил на рассмотрение Ставки план перехода Красной Армии к стратегической обороне. Генштаб исходил из соображения: немцы пока сильны, а наши резервы еще незначительны. Военная промышленность, переброшенная на восток, до конца не развернулась. Перемалывать агрессора в оборонительных боях, создавать глубоко эшелонированную оборону и не давать ему продвинуться дальше, пока не будут накоплены значительные силы, – такова была суть предложений.

Сталин отверг эту разумную программу. «Ты как Илья Муромец, – недовольно сказал он Шапошникову, – хочешь тридцать три года сиднем сидеть, Борис Михайлович. Гитлер уже выдохся... Единым и общим ударом по всему фронту мы опрокинем его армии и вышвырнем их вон с нашей земли. Советские люди не поймут нас, товарищи, если мы будем звать их к пассивной обороне».

После этого были разработаны наступательные операции на весну 1942 года, операции, направленные против всех трех групп германских армий. Ни одна из них не увенчалась успехом. Остановленные немцами ударные группировки Красной Армии подверглись жестокому встречному удару армий вермахта. В большинстве своем дивизии были окружены и перестали существовать. И тогда начался тяжелейший период Великой Отечественной войны, весь трагизм которого без всяких прикрас отразился в июльском приказе Сталина «Ни шагу назад!».

Ни о чем таком сейчас он и не подозревал. Сталин захлопнул тетрадь, подумав, что надо отвести определенное время для заполнения дневника: вел он его нерегулярно. Пришла мысль: зачем он, собственно, ведет эти записи, ведь мемуары писать не собирается... Но мысль показала Сталину праздной, он погасил ее. Раз не спится, надо работать, решил Сталин. Он снял телефонную трубку и сказал:

– Волховский фронт, Ворошилова.

Соединили сразу. В трубке ответили:

– У аппарата член Военного совета Запорожец.

«Главный разувальщик РККА, – усмехнулся Сталин. – Он что, так и спит у телефона?» Сталин многое знал о высших генералах и комиссарах. Ему, по докладам службы безопасности, были известны их пристрастия и привычки, особенности натуры и чудачества, которые присущи каждому человеку. Вождю нравилось в разговоре с тем или иным намекнуть на осведомленность, повергая собеседника в крайнее смущение.

Александр Иванович Запорожец отличался тем, что, встретив взвод или роту красноармейцев на ученье или в гарнизоне, останавливал их и командовал: «Садись!» Затем приказывал разуться и проверял чистоту портянок и ног, утверждая, что здоровые ноги – главное оружие красноармейца. Перед войной Запорожец возвысился до поста начальника Главного политического управления РККА, но Сталин, узнав о портянках, решил, что для такой должности он мелковат, и заменил его Мехлисом.

– Где Ворошилов? – спросил Сталин у Запорожца.

– Маршал выехал с комфронта во Вторую Ударную армию, товарищ Сталин.

– Хорошо, – проговорил Сталин и медленно опустил трубку.

Ему вдруг захотелось услышать голос Ворошилова, вот он и позвонил человеку, с которым его связывали сложные и запутанные отношения, а коли его нет на месте... Сталин даже слегка рассердился. Ему, понимаешь ты, звонят, а он...

Дверь приоткрылась, из приемной выглянул Поскребышев, поздоровался. «Будто и не ложился всю ночь, – отметил Сталин, – нюхом чувствует, что не сплю». Ему было невдомек, что каждый шаг его фиксировался с того момента, когда он свесил с койки ноги в шерстяных носках домашней вязки, надел сапоги и направился в библиотеку. Поскребышев уже тогда мгновенно отрешился от сна и ждал, когда возникнет в нем необходимость.

Сейчас он стоял в дверях и медлил, не уходил. Сталин вопросительно посмотрел на помощника.

– Поздравляю с праздником, – сказал Поскребышев.

– Какой такой праздник? – с сильным кавказским акцентом спросил недоуменно вождь.

– Сегодня двадцать третье февраля, товарищ Сталин.

42

Кружилина выручил Фрол Игнатьевич Беляков. Он поверил Олегу и, рискуя навлечь на себя нерасположение прямого начальства, обратился через его голову к приехавшему в дивизию начальнику Особого отдела армии Шашкову.

Положение Олега было незавидным. Лабутин быстро закончил дело и готовился передать его в военный трибунал. Положение усугублялось еще и тем, что Кружилин в части был новичком, он даже с командиром полка Соболев не успел познакомиться. А запрашивать на Олега характеристику с прежнего места службы Лабутин считал излишним.

– Мало ли каким он был прежде, – спокойно заявил молодой особист Белякову, – главное, что у нас совершил. До того маскировался, выжидал момент. Понимаю: случай сомнительный. Поэтому вряд ли его расстреляют. Разжалуют и отправят в штрафники. А ежели честный он – кровью вину искупит. И чего вы так с ним колготитесь, Фрол Игнатьевич? Плевое ведь дело!

Беляков давно понял: убедить Лабутина ему не удастся. Пошел прямо к Шашкову.

– Ветеран, говоришь, финской войны? – переспросил Александр Георгиевич. – Боевой командир? Доброволец? Недоучившийся философ? Знает немецкий? К тому же умеющий спать без задних ног. В самом буквальном смысле. Такое бывает, Фрол Игнатьевич, ты меня не убеждай. Помню, в Туркестане неделю без сна гонялись за басмачами. До того устали, что один бравый конник, уснув у костра, задницу себе прожег. Волдыри были – жуть! Отправили

в госпиталь, в седле он был, конечно, не ездок. Что вы, сами не могли тут разобраться – членовредительство или несчастный случай?

Беляков развел руками.

– В трибунал еще не передали? – спросил Шашков. – И то хорошо... Ладно, приведи мне засону, хочу на него поглядеть.

Когда Беляков вышел распорядиться, Александр Георгиевич вздохнул, покачал головой, достал из левого кармана листочки, вырванные из школьной тетрадки в клеточку. Это было письмо Ларисе и детям. Он написал его еще позавчера и до сих пор не мог отправить. Когда выдавалась свободная минута, вновь прочитывал письмо, будто разговаривал с близкими, дописывал фразу-другую.

Привели Кружилина.

– Садитесь, – предложил ему, улыбаясь, Шашков. – Как нога? – «Большое, видать, начальство», – подумал Олег, рассмотрев ромб на воротнике его гимнастерки.

– Пока болит, товарищ комбриг, – ответил Кружилин, почувствовав неожиданную расположенность к этому человеку с залысинами и тронутыми сединой висками. – В дурацком я положении...

– Это верно, – согласился Шашков. – С одной стороны, вроде бы и анекдот, а с другой... Впрочем, с анекдотом покончено. Я ознакомился с вашим делом и прекращаю его. Сколько вам времени надо на поправку?

– Да я ведь здоров, товарищ комбриг! Хоть отсюда в бой...

– Я не комбриг, а майор государственной безопасности, товарищ Кружилин. Мое звание соответствует в армии генеральскому. Фамилия – Шашков, зовут – Александр Георгиевич. О вас знаю все. А в бой... в бой вы пойдете, старший лейтенант, когда подлечите ногу и получите от меня задание. Вы любите стихи?

– В каком смысле? – недоуменно глянул на Шашкова Олег.

– Подвох ищете? – сощурился, сохранив улыбку, Александр Георгиевич. – А без всяких смыслов. Любите или нет?

– Люблю, – ответил Кружилин.

– И я тоже, – сказал Шашков. – Стихи – это лучшее, что может произвести человеческая душа. Помните что-нибудь наизусть?

– «Под небом мертвенно-свинцовым, – тихо проговорил Кружилин, – угрюмо меркнет зимний день, и нет конца лесам сосновым, и далеко до деревень. Один туман молочно-синий, как чья-то кроткая печаль, под этой снежною пустыней смягчает сумрачную даль».

– Грустно, но хорошо, – сказал после небольшой паузы Шашков. – Сами написали?

– Что вы, – улыбнулся Олег. – Это Иван Бунин.

– Я знал, что он и стихи писал, а вот слышу их в первый раз. Что-нибудь еще можно? Вы хорошо читаете, Кружилин.

– Тогда вот это... «Курган разрыт. В тяжелом саркофаге он спит, как страж. Железный меч в руке. Поют над ним узорной вязью саги, беззвучные, на звучном языке. Но лик сокрыт – опущено забрало. Но плащ истлел на ржавленной броне. Был воин, вождь. Но имя смерть украла. И унеслась на черном скакуне...»

– Молодец, – сказал, покачав головой и поджав губы, Александр Георгиевич. – И вы, Кружилин, и Бунин. Как точно написано!..

«Кто он? – ошалело думал Олег. – Зачем все это? Особый отдел, обвинение в членовредительстве, грозная тень трибунала за спиной этого человека и... разговор о поэзии?»

– И я люблю стихи, многие знаю на память, – проговорил Шашков, и Олег вдруг увидел, какие добрые глаза у этого замотанного нелегкой службой человека. – Особенно мне нравится Надсон.

– Это разные поэты.

– Конечно-конечно, – согласился особист. – А университет вы оставили зря... Я понимаю – война. Но и в такое тяжелое время нужны люди, которые бы на высоком уровне осмысливали то, что свершается сейчас. Неправда, Кружилин, что музы молчат, когда говорят пушки. Как раз напротив! Нам и сейчас нужны философы, а после войны тем более. Обещаете вернуться в университет?

Лицо Шашкова было серьезным, он пытливо смотрел на Олега.

– Обещаю, – сказал командир роты.

– Ну и ладно. Значит, договорились. А теперь о деле. Я забираю вас к себе на службу. Вы хороший лыжник, мастер спорта, прекрасно знаете немецкий язык и неплохой командир роты. У нас есть о вас отзыв командира бригады, в которой служили прежде. И потом, смотрю я на вас и вижу, что не подведете.

– Не подведу! – воскликнул Олег. – Только... Не знаю ведь я вашей работы. И мне бы хотелось на переднем крае...

Шашков рассмеялся:

– Вы что подумали? Нет, вас я беру на самую что ни на есть армейскую службу. Вы так и останетесь командиром роты, но роты особого назначения. А воевать придется в тылу врага. Подходит?

– Еще бы, – взволнованно сказал Олег. – Неожиданно, правда. Только что обвиняли бог знает в чем, и вдруг...

– Про обвинение забудьте, случается у нас. Есть молодые сотрудники, они пришли к нам в сложное время и порой перехлестывают. Не та у них закалка, старший лейтенант. Мне вы сразу пришлись по душе. И Беляков заступился, через голову начальства обратился ко мне. Игнатьичу я верю – чекист старой школы.

– Спасибо, – просто сказал Олег. – Жду ваших указаний.

– Пока лечите ногу. Даю вам на это неделю. И начинайте подбирать людей. Вам выдадут мандат от нашей, так сказать, конторы. По мандату вы можете взять в новую роту любого сержанта или красноармейца. Отбирайте крепких и отчаянных, обязательно лыжников, хороших стрелков. Через две недели доложите о том, что рота спецназначения сформирована. Сейчас познакомлю вас с порученцем и комиссаром Особого отдела армии. Возникнут трудности – обращайтесь к ним. В сложных случаях – непосредственно ко мне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.